

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

**ВЛАДИМИР
ВОЙНОВИЧ**

**ПО
ВЕС
ТНИ**

С





ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ



П О В Е С Т И



СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1972

В новую книгу Владимира Войновича вошли три повести.

Повесть «Мы здесь живем» рассказывает о жизни на целине, о работе шоферов, о быте, правах, духовных устремлениях молодых целинников. В «Двух товарищах» герои стоят на пороге самостоятельной жизни, окончательно определяются их нравственные идеалы. Повесть «Владычица», посвященная давним временам, разоблачает реакционную, мракобесную сущность сектантства.

Художник К а л и т а Н. И.



МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ



Было раннее утро, и трава, облитая обильной росой, казалась черной. Слабый ветер шевелил над Ишимом тяжелые клубы тумана.

Ваня-дурачок гнал через мост колхозное стадо и пел песенку. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому в песенке нельзя было понять ни одного слова.

Я ехал на своем самосвале и уже собирался въехать на мост, но увидел на нем теленка. Задняя нога его застряла меж двух бревен, теленок лежит на брюхе, мычит, на том его борьба за жизнь и кончается. Я остановил машину и помог потерпевшему.

— Ну что ж ты, — сказал я Ивану, — губы-то распустил? Видишь, теленок провалился! Так ему и ногу недолго сломать.

— Пускай ломает! — дурачок беспечно махнул рукой. — Прирежем... Хлопцам на стане три дня мяса не давали. А меня не дразни. Гошке скажу.

И пошел, волоча по траве свой длинный бич, который здорово шелкает в умелых руках.

Я медленно въехал на мост и забуксовал как раз на том месте, где провалился теленок. Я давил на газ, колеса крутились, еще больше раздвигая бревна, но машина не двигалась с места. Увидев это, Иван вернулся.

— Ну что? — спросил он, подходя, и хлопнул бичом.
— «Что, что», — передразнил я его. — Видишь, забуксовал.

— Ну давай тогда тебя прирежем. На пашлык.

— Брось ты эти шутки, — сказал я ему. — Ты лучше возьми мою телогрейку, вот так сложи вдвое, чтоб изнутри не запачалось, и подложи под колесо.

Я благополучно переехал через мост и остановился. Иван подал мне мою телогрейку. Она была совсем чистая, а у него на правом боку через рукав шел грязный рубчатый след от ската.

— Ты сам, что ли, ложился под колесо? — спросил я.

— Нет, свою телогрейку подложил, а то твоя новая — жалко.

Выехав на грейдерную дорогу, ведущую на Кадыр, я в третий раз остановил машину и подошел к желтому дорожному щиту, на котором прямыми крупными буквами было написано только одно слово:

ПОПОВКА

Много людей ездит мимо этого щита и видит то, что на нем написано. Но разве запомнишь название каждой деревни?

А я здесь часто бывал. Знал Гошку, знал и других. Вот об этих людях я и написал свою повесть.

1

Кусты ивняка стояли над суженым руслом Ишима. Санька и Лизка нагрузили глину в высокий самосвал Павла Спиридонова, прозванного Павло-баптист, и Павло, надвинув кожаную фуражку по самые уши, уехал. Подруги, бросив лопаты, легли отдохнуть. Лизка сняла с себя выгоревшую кофточку, и тень от листьев пятнами упала на ее загорелую спину.

— Не умеешь ты, Санька, работать, — сказала Лизка. — Лопату криво держишь, и все у тебя высыпается.

В кустах жужжали шмели и трещали кузнечики. Наискосок через небо почти невидимый самолет тянул извилистый волокнистый след. Лизка перевернулась на спину и посмотрела на небо.

— Смотри, самолет летит и дым пускает. Как все равно облако,— сказала она.

— А это облако и есть. Самолет сам его делает.

— Как это он делает? — недоверчиво спросила Лизка.

— Не знаю как, а знаю, что делает. Инверсией это называется.

— Ишь ты — инверсия,— почтительно повторила Лизка незнакомое слово.— Инверсия. А ты откуда знаешь?

— Так, знаю. Летчик один знакомый рассказывал.

— Летчик? У тебя есть знакомые летчики?

— Были.

Лизка немного помолчала, потом пошутила:

— Вот видишь, жила ты в городе, летчики знакомые были. А вот в Поповке их нету. Здесь какой ни то комбайнер, и тот уже нос дерет — не подступишься. Поживешь-поживешь, да и выйдешь за Ивана-дурачка.

Санька, ничего не ответив, лежала, смотрела на небо и старалась ни о чем не думать. Ни вставать, ни, тем более, работать не хотелось.

— Слышала я вчера, как ты пела в клубе,— сказала Лизка.— Хорошо у тебя получается. Прямо как у артистки. «Парней так много холостых...» — начала было Лизка, но одумалась.— Это ты тоже в своем городе научилась?

— Тоже.

— Все в городе,— вздохнула Лизка.— Летчики в городе, артисты в городе. А у нас...— Лизка поднялась на локте и посмотрела на дорогу.— Ой, никак Гошка едет!— сказала она радостно.

— Гошка?

— Ага,— Лизка торопливо застегивала кофточку.

— Ну что, мне опять идти цветочки собирать? — Санька поднялась и вытянула в стороны онемевшие руки.

— Сходи, Саня,— попросила Лизка.— Последний раз сходи. Сегодня что ни то да будет. Сегодня я у него добьюсь ответа.

— Что ж делать,— сказала Санька и пошла, раздвигая кусты, к Ишиму.

Гошка затормозил у самого обрыва и стал медленно подавать машину назад.

— Ну что, работать будем? — спросил он, стоя на подножке и глядя на Лизку через кузов.

— Будем,— сказала Лизка,— немного погода.

— Погода некогда, Лиза, там строители ругаются.

— Поругаются на пять минут больше. Санька утомилась, пошла умыться.

Гошка был в майке. Солдатская гимнастерка, придавленная учебником литературы, лежала рядом на сиденье. Лизка, влезая в кабину, отодвинула все это в сторону и сказала:

— Ты чего это костяной подворотничок носишь? От него шея портится. Надо тряпочный носить...

— Стирать его да подшивать,— сказал Гошка.— Некогда.

— Хорошо женатому,— вздохнула Лизка сочувствующе.— Жена и подошьет и постирает и вон дырку на рукаве залатала бы.

— Чего там латать? Выбрасывать пора.

— Чего ж не выбросишь? — насмешливо покосилась Лизка.

— А вот до плеча разорвется — выброшу.

Замолчали. Гошке хотелось спать, глаза слипались— не до разговоров. Сегодня в шесть утра он приехал из Актабара, а в восемь прискакал на лошади бригадир Сорока, заставил ехать за глиной. Лизка взяла в руки учебник, развернула посередине, долго смотрела не читая и снова положила на место.

— Учишься?

— А? — Гошка с трудом разомкнул веки.

— Учишься, говорю?

— Учусь.

— И долго тебе еще учиться?

— Не знаю, Лиза. Вот экзамен сдам, а там видно будет.

— В техникум пойдешь?

— Не знаю.

— Я летошний год тоже училась,— помолчав, сказала Лизка.— На кройки и шитья. Экзамены тоже сдавала. У меня и диплом есть.

Гошка не ответил.

— Я и вышивать умею. Что гладью, что крестом... Вот Мишка-тракторист увидел мои вышивки: «Кабы я не был женат, говорит, Лизка, на тебе б женился. А то, говорит, у меня не жена, а одно название. Так только,

сготовить чего или постирать, а чего ни то спать или вышить не может. Вот, говорит, коврик на стенку или подзор на кровать — все, говорит, купленное, за все денежки плачены». Ты б себе какую жену взял, а?

— Не знаю, Лиза. Какая попадется, — устало пошутил Гошка.

— Небось тоже хочешь покрасивше да ученую, — грустно сказала Лизка. — Вон как у Васьки. Ученая, учительшей работает, а некультурная. Придет с работы: «Я, говорит, устала, ты, говорит, должен за мной ухаживать». А чего она там устала? Чай, не кирпичи таскает. А когда Васька на курсы ездил, письмо ей пришлет, а она красный карандашик в руки, ошибки отметит и назад посылает.

Гошка открыл дверцу:

— Пойдем, Лиза, пока вдвоем поработаем.

— Еще посидим, — нерешительно попросила Лизка.

— Нет, нет. Некогда. Там строители небось рвут и мечут.

Он вытащил из-за кабины лопату с короткой кривой ручкой и пошел к заднему борту. Лизка неохотно пошла следом.

— Гоша, а ты вчера на собрании был? — спросила она, становясь рядом.

— Нет, я в Актабар ездил.

Лизка оперлась на лопату и сказала, как о большом секрете:

— Председатель выступал. Пятница. Говорил: «Как построим дома, женатым по полдома дадим, а у кого двое детей, так тому, говорит, и по цельному».

— Ладно, Лиза. Это нас с тобой не касается.

«Как бы ты схотел, так касалось бы», — печально подумала Лизка и со вздохом швырнула в кузов первую лопату. Работали молча. Подошла Санька, встала рядом с Лизкой и посмотрела ей в глаза. Лизка отвернулась, и Санька все поняла.

— Ну что? — спросила она, когда Гошка уехал. — Опять ничего не вышло?

— Нет, — Лизка отшвырнула лопату. — Не вышло.

— Ну, а что ты ему говорила? Опять на полдома намекала?

— Намекала, — призналась Лизка.

— Ах, Лизка, Лизка! Кто ж так делает? Разве такого парня заманишь этим?

— А чем же его замануть?

— Не знаю, — вздохнула Санька. — А если б знала, так не сказала бы.

— Это почему?

— Самой пригодилось бы, — тихо сказала Санька.

Лизка испуганно посмотрела в глаза подруге.

Санька отвернулась. Она долго смотрела в сторону Поповки, туда, где скрылась Гошкина машина, и не сразу услышала тихие всхлипывания.

— Ты что, Лизка? — кинулась она к подруге.

Лизка уткнулась мокрым лицом в траву и ничего не отвечала. Санька легла рядом.

— Ну что ты, Лиза? У меня ведь тоже ничего не получается. Ты хоть ему говоришь. А я и этого не умею.

Лизка села, утерлась подолом и, все еще всхлипывая, улыбнулась широкой улыбкой:

— Помнишь, Саня, я тебе рассказывала, сколько у меня парней было? Так все это неправда. Только один парнишка был, Аркаша Марочкин, Тихоновны сын. Билеты в кино покупал. А потом на службу ушел. Так с тех пор никого и не было.

Лизка замолчала и, сорвав желтый цветок одуванчика, стала рассеянно обрывать мягкие лепестки.

— Ну и что, ты уже забыла Аркашу? — тихо спросила Санька.

— Я-то не забыла, он забыл. Как первый месяц служил, одно письмо прислал — и все. Я ему еще штук шесть послала, а от него ни ответа ни привета. Да чего говорить! Им, мужикам, лишь бы обмануть, а наш брат — баба — всегда страдает.

— А может, у него времени нет письма писать? Может, с ним что случилось?

— Нет, — сказала Лизка и молоком, выступившим на обрыве стебелька, стала писать на руке слово «Аркадий». — Матери-то он пишет. Вчера иду мимо, а Тихоновна: «Зайди, говорит, на момент. Чего покажу». Фотокарточки показывала. Аркаша прислал. На танке сфотографированный, на котором ездит.

В этом году колхоз заложил двадцать два дома для переселенцев и молодоженов. На стенах некоторых домов уже лежали пожелтевшие от солнца стропила, для других домов еще только заложили фундамент.

На строительной площадке никто не работал. Возле четвертого справа дома стояла голубая «Волга» председателя колхоза Петра Ермолаевича Пятницы. Восемнадцать строителей (в Поповке их называли «шабашники») окружили председателя и слушали своего бригадира Потапова, высокого и худого мужика с усиками.

Гошка поставил машину возле растворного корыта и крикнул строителям, чтобы шли разгружать. Никто не отозвался. Только рыжий и рыхлый, похожий на женщину, каменщик Валентин, не оборачиваясь, махнул рукой — подождешь.

Гошке тоже нужен был председатель, и он вылез из кабины.

Полукруглая желтая тень от широкополой соломенной шляпы падала на лицо председателя. На парусиновом пиджаке темнел потускневший и облупившийся за долгие годы орден Красного Знамени. Этот орден эскадронному командиру Пятнице вручил в 1921 году Буденный.

Председатель колхоза Пятница, прикрывая время от времени старческие веки, слушал бригадира Потапова. Голос у Потапова был глухой и ровный.

— Наше условие, Ермолаевич, простое,— говорил он:— сто рублей в день на рыло, или порвем договор. Нам работа везде найдется.

— Не смею задерживать,— сказал председатель.

— Ты это, Ермолаевич, брось. Мы с тобой обое старые и лысые, и притворяться нам нечего. Тебе нужны дома, нам — деньги, друг без дружки нам не обойтись.

— Попался б ты мне лет сорок назад, Потапов,— задумчиво сказал председатель,— развалил бы я тебя пашкой на две половинки.

— Не развалил бы. Я костистый. Ты лучше скажи, будем перезаключать договор или ругаться будем?

— Ладно, отстань,— сказал Пятница.— Скажи лучше

своим, пусть работают, а то за такую работу я вам и по десятке не заплачу. А насчет нашего разговора подумаю.

— А когда ответ дашь?

— Завтра.

Строители не спеша разбрелись по своим местам. Двое с лопатами через плечо пошли разгружать Гошкину машину. Петр Ермолаевич повернулся к Гошке:

— Ну, как дела, Яровой? Что это ты такой сонный ходишь?

— А чего ж мне не сонным ходить? — сказал Гошка. — Два часа всего спал.

— Тяжело, — согласился председатель. — Всем сейчас тяжело. Время такое. Зато осенью премии будем давать — тебе первому.

— Вы бы мне лучше отпуск дали.

— Зачем тебе отпуск?

— А вот, — Гошка вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку.

В этой бумажке было написано, что выпускник десятого класса районной заочной школы Яровой Г. И. имеет право на отпуск за счет государства на время выпускных экзаменов.

Председатель перечитал бумажку два раза.

— Не могу, — сказал он, возвращая бумажку.

— Как это вы не можете? — возмутился Гошка. — Мне по закону положено.

— Какой тут, милая моя, закон, — вздохнул председатель. — Мне вот каждый день звонят из района: «Почему задерживаешь строительство? Почему опаздываешь с посевной?» А я что им скажу? Скажу, что я всех шоферов в отпуск отправил. Так, по-твоему?

— Но мне же...

— Что — тебе же? Экзамены надо сдавать? Знаю. А как на войне? Я в Отечественной, конечно, не участвовал, а вот в гражданскую у нас знаешь как было?

— Знаю, — сказал Гошка, — вы по трое суток с коней не слезали.

— Откуда ты знаешь? — удивился председатель.

— Это вы мне десять раз рассказывали.

Гошка огорченно махнул рукой и пошел к своему «ЗИЛу».

Возле облитой маслом кирпичной стенки стояли машины, Из-под крайнего слева самосвала торчали ноги в легких парусиновых сапогах.

— Толька, убери ноги! Оттопчу! — крикнул Гошка, ставя машину к стене.

Из-под машины с тавотницей в руках вылез лохматый шофер в синем комбинезоне. Из бокового кармана достал измятую пачку «Беломора».

— Дай прикурить, — сказал он.

Гошка приехал в Поповку два года назад, после демобилизации. Анатолий приехал в пятьдесят четвертом году, после десятилетки: он считался среди новоселов почти старожилом. Гошка и Анатолий были друзьями, но в последнее время встречались редко.

— Пойдем, что ли? — спросил Гошка, закрывая машину.

— Пойдем.

По дороге домой Гошка рассказал Анатолию о своем разговоре с председателем.

— Какой ты дурак! — разозлился Анатолий. — На тебе скоро воду будут возить. Подумаешь, у него шоферов нет! А тебе какое дело? Тебе государство отпуск дает. А оно больше знает, нужен ты или не нужен. Ты же завалишь экзамены.

— Не завалю.

— А я тебе говорю — завалишь. С таким дураком даже разговаривать не хочется. Отойди от меня. Вот так.

Некоторое время они шли молча. Гошка долго сдерживался и наконец хмыкнул в кулак.

Анатолий тоже засмеялся.

— Когда у тебя сочинение? — спросил он, перестав смеяться.

— Через три дня.

— А шпаргалки у тебя есть?

— Нет. Я думаю без шпаргалок.

— Чудак ты, Гошка! Кто же сочинение без шпаргалок пишет? Ты когда-нибудь такое видал?

— Нет, — сказал Гошка.

— Я тоже.

— Ну, а первый все-таки кто-то писал сочинения сам?

— Первый! А кто был первый человек на земле, ты знаешь? Адам! Вот, может, он первый и писал сочинения, а все, кто потом жил, сдували. И ты сдувай. Это надежней. Так все делают. А насчет устного экзамена я тебе вот что скажу. Самое главное — это уметь отличать положительного героя от отрицательного.

— А как же их отличать?

— Это очень просто. Вот ты, например, отрицательный. Ты, правда, не пьешь, не воруешь, не делаешь фальшивые деньги, но дураки — они тоже отрицательные.

— А ты положительный?

— Я положительный.

— Из чего это видно?

— А вот считай! — Анатолий стал загибать пальцы. — Комсомолец не хуже тебя. После окончания средней школы откликнулся на призыв. Добровольно поехал осваивать целинные земли. Имею почетную грамоту и медаль за освоение. Ну что? Съел?

— Ну, а еще что?

— Куда больше? Хватит.

— А вот Яковлевна говорит, что ты, когда в хату входишь, ноги не вытираешь.

— Насчет ног это верно, — признался Анатолий, — но зато... зато я приехал сюда после десятилетки. У меня не было жизненного опыта. Я уже шесть лет на целине.

— Много, — сказал Гошка. — А Яковлевна вон шестьдесят лет живет на целине — и ни одной медали. И вообще, — Гошка, сам не замечая, перешел на серьезный тон, — вот сейчас все говорят о десятиклассниках: им семнадцать лет, у них нет опыта, у них трудности. А когда я начинал работать, мне было двенадцать лет. У меня не было ни опыта, ни десяти классов. Почему же обо мне тогда ничего не говорили?

— Наверное, такое время было, — тоже переходя на серьезный тон, сказал Анатолий. — Не до тебя было.

— И тогда было не до меня, и сейчас не до меня.

— Да, — сказал Анатолий неопределенно махнул рукой. — Ну, мне сюда. Пока.

В день экзамена Гошку все-таки освободили от работы. До города по грейдеру было двадцать два километра. Гошка долго ждал попутной машины, в школу приехал за пятнадцать минут до начала. Все заочники уже собрались. Они сидели на скамейках, на крыльце, просто на траве перед школой. Одни лихорадочно листали учебники, другие сортировали шпаргалки, третьи ожидали своей участи пассивно. Сутуловатый парень с пышной прической и металлическими зубами тасовал в руках пачку фотографий-шпаргалок.

— Навались, подешевело! Полный комплект сочинений за один червонец.

Парень был местным фотографом. Сегодня его продукция пользовалась небывалым спросом. Гошка тоже решил запастись новинками фотоискусства. На всякий случай. Он вынул деньги.

— Дай.

— Все, — сказал фотограф, — пива нет, ресторан закрыт. Осталась одна пачка — самому пригодится. Я тоже сдаю.

Вышел толстый учитель в чесучовом пиджаке и неожиданно тонким голосом сказал:

— Заходите.

Все пошли. В коридоре фотограф догнал Гошку и тронул его за рукав:

— Четвертной дашь?

Раздумывать было некогда, Гошка сунул ему двадцатипятирублевку. Рассаживались долго. Взрослые люди с трудом помещались за детскими партами. Гошка сел за третью парту. Фотограф сел рядом.

— Вдруг чего, дашь мне сочинение, — сказал он.

Гошка не ответил. Ученики замороженными глазами следили за учителем, пухлые пальцы которого слишком медленно разрывали пакет. Но вот он написал на доске первую тему, и Гошка облегченно вздохнул. «Молодая гвардия». Эту книгу Гошка знал хорошо.

Всего было четыре темы. Фотограф долго думал, на какой из них остановиться, и не остановился ни на одной.

— Слышь, дай мне Тургенева, — шепнул он Гошке.

— Полсотни, — сказал Гошка.

— Я ж тебе за двадцать пять.

— Подорожали.

Фотограф помолчал, подумал, но пятьдесят рублей пожалел. Он заглянул в Гошкину тетрадь.

— За два одинаковых сочинения оба автора получат по двойке,— глядя в потолок, сказал всевидящий учитель.

Гошка отодвинулся. Фотограф почесал в затылке и— делать нечего— взялся за сочинение. Некоторое время молча скрипел пером, потом ткнул Гошку в бок:

— Слышь, как пишется «патриот» — через два «т»?

— Пять рублей,— предложил Гошка.

— Шкура,— сказал фотограф и обиженно отвернулся.

5

В начале июня неожиданно приехал досрочно демобилизованный Аркаша Марочкин. Уезжал простым человеком, а вернулся ефрейтором. Привез Аркаша матери подарки: полушалок чисто шерстяной, отрез на платье и еще кое-что по мелочи. Было чего рассказать. Когда включили электричество, Тихоновна засветила керосиновую лампу, и долго еще желтели два окна в доме Марочкиных.

Утром Аркаша не торопясь умылся, позавтракал и, приведя себя в порядок, вышел на крыльцо.

Лизка, которая вот уже полтора часа ковыряла мизинцем трухлявую штакетину в Аркашиной калитке, кинулась к долгожданному:

— Аркаша!

И обомлела. На Аркаше все сверкает. Сапоги, пуговицы, бляха. На груди значков штук шесть. Все большие, как ордена, и тоже сверкают.

— Аркадий Александрович,— поправилась Лизка и отступила на два шага в сторону.

— Здорово! — Аркадий двумя пальцами расправил гимнастерку под ремнем и, выбросив вперед левую руку, долго смотрел на циферблат часов.

— Сколько время? — почтительно спросила Лизка и сама смутилась от нелепого своего вопроса.

— Полчаса десятого,— значительно ответил Аркаша и между прочим поинтересовался: — Ну как жизнь?

- Ничего, спасибо.
- Замуж еще не вышла?
- Нет еще.
- Чего ж так?

— Куда спешить-то? — сказала Лизка, приблизилась и тревожно посмотрела в Аркашины глаза. — А ты... а ты не женился?

— У солдата в каждой деревне жена и в каждом доме теща, — сказал Аркаша и опять посмотрел на часы. Потом вынул из кармана сверкающий никелем портсигар, щелкнул крышечкой, постучал по крышке мундштуком «Беломора».

— Опять в колхоз пойдешь или как? — робко спросила Лизка.

— Не знаю. Посмотрю, что председатель скажет. Найдется чего подходящее — останусь. А нет, так... Меня теперь где хочешь примут. Механик-водитель. На любой завод без разговору. — И заторопился: — Ну ладно, пойду, чего тут зря разговаривать!

Лизка одним пальцем тронула наглаженный рубчик Аркашиного рукава:

— Вечером в клуб придешь?

— Не знаю. — Аркаша убрал локоть. — Чего там делать? — Но, поглядев ей в глаза, смягчился: — Может, и приду. Видно будет. — И пошел по тропке мимо соседских дворов, стройный, подтянутый.

Лизка тоже пошла было, но на крыльцо, гремя ведрами, вышла Тихоновна. Поздоровались. Тихоновна внимательно посмотрела на Лизку, спросила:

— Ждешь кого?

— Да нет... так просто стою.

— Аркашу видела?

— Видела. — Лизка пожала плечами: дескать, было бы па что смотреть.

Тихоновна поставила ведра на землю.

— Ну и как?

— Да чего — как? Парень как парень. Две руки, две ноги — ничего особенного.

— Это как сказать — ничего особенного. На службе-то девки за им знаешь как бегали.

— Девки бегали? — насторожилась Лизка.

— И-их, милая, еще как бегали-то. — Тихоновна для

чего-то наклонилась к самому Лизкиному уху и понизила голос:— Фотокарточек привез цельную пачку. Вот такую. И все девки. Мне уж больно одна там понравилась. Из себя видная, и родинка на этом месте, возле глаза. Симпатия. На фершалку учится.

— На фершалку?

— На фершалку, милая, на фершалку,— охотно подтвердила Тихоновна.

— Ну, я пойду,— неожиданно заторопилась Лизка.— До свидания вам.

— До свидания, милая. Заходи как-нибудь,— радушно предложила Тихоновна. «Когда нас дома не будет»,— добавила она про себя. Ей не нравилась Лизка. Она считала, что сын ее достоин лучшей пары.

А Лизка шла, задевая пальцами штaketник, и не глядела под ноги. «Фершалка,— думала она,— подумаешь, фершалка».

6

До последнего экзамена оставалось шесть дней. Немецкий язык— предмет несерьезный, и про учительницу, которая вела его, ходили в школе добрые слухи. Говорили: если знаешь все буквы — тройку поставит. Алфавит Гошка мог прочесть без подготовки. Поэтому он решил отдохнуть и сходить в кино.

Все знали, что в клуб привезли фильм про шпионов. Поэтому задолго до начала все скамейки были заняты. Завклубом Илья Бородавка продавал билеты прямо у входа и сразу отрывал контроль.

Гошка увидел на одном подоконнике свободное место и пошел туда.

— Гошка,— услышал он Лизкин голос и обрадовался. Подумал: «Значит, и Санька здесь».

Но Саньки не было. Лизка сидела во втором ряду, а рядом с ней — Аркадий Марочкин. Он уже снял с себя военную форму и сейчас сидел в похрустывающей кожанке и хромовых сапогах. Время от времени он небрежно выбрасывал вперед согнутую в кисти левую руку и смотрел на светящийся циферблат своих часов. Лизка была в шелковой косынке, в синей жакетке, с искусственной розой на груди.

— Садись, Гоша.— Она подвинулась к своему кавалеру и двумя пальцами подтянула подол праздничного платья.— В кино пришел? — спросила она и улыбнулась уголком рта, чтоб показать металлическую «фиксу», вставленную недавно. Лизка смотрела на Гошку, счастливо улыбалась, и глаза ее говорили: «Вот не хотел ты со мной, а я не хуже нашла».

«Где ж Санька?» — подумал Гошка и хотел спросить о ней у Лизки, но почему-то не решился и сказал:

— Что это ты зуб вставила?

— Болел,— сказала Лизка, и видно было, что врет,— купила за три рубля в Актабаре.

В первом ряду, прямо перед Гошкой, сидел завскладом Николай Тюлькин со всем своим семейством: женой Полиной, трехлетней дочкой Верочкой и тещей Макогонихой. Девочка вдруг расплакалась. Полина трясла ее на руках и успокаивала:

— Зараз зайцев покажут. Багато, багато зайцев побытых!

— А воны з рогамы? — спросила девочка, вытирая слезы.

— З рогамы, з рогамы.

Бабка Макогониха сидела рядом и не обращала на дочку и внучку никакого внимания.

Когда-то хорошая хозяйка и рукодельница, в последние годы Макогониха чувствовала себя все хуже и хуже. У нее часто кружилась голова, тряслись руки, а в ногах была такая слабость, что даже поболтать с соседками старуха выходила редко. Она жаловалась дочери на недомогание и удивлялась:

— Николы такого нэ було.

— Шо вы, мамо, удивляеэсь? Восемьдэсят годов вам тож николы нэ було.

В последнее время старуха почти ничего не помнила и не понимала. Полина давно уже отстранила ее от хозяйственных дел. Старуха, отчасти потому, что не привыкла сидеть без работы, отчасти из чувства обиды и противоречия, хваталась за все, но ничем хорошим это никогда не кончалось.

Макогониха сидела рядом с дочерью и, недоверчиво поджав губы, смотрела на экран, как будто видела его впервые.

Лизка толкнула Гошку в бок и, имея в виду Макого-
ниху, шепнула:

— Сейчас будет плакать.

И правда. Как только погас свет и на экране появи-
лись борцы, старуха завздохала:

— Боже ж мий, таки молоди! За шо их? — И, не полу-
чив ни от кого ответа, она заплакала от жалости к борцам
и плакала потом, когда после журнала люди с собаками
полтора часа гонялись за молодым шпионом.

Лизка сидела, скрестив руки на груди, и смотрела рав-
нодушно. Она видела фильм раньше и все знала наперед.
Поэтому, когда в самом захватывающем месте Марочкин
вскрикнул: «Вот, елки-моталки, опять ушел!», она прижа-
лась к нему:

— Не бойсь, пымают.

— Тише ты, «пымают»,— сказал кто-то в заднем
ряду.

Лизка испуганно съежилась и сильнее прижалась к
своему кавалеру.

Трепал аппарат. В клубе кто-то курил. Было дымно
и душно. На туманном экране бродили шпионы. Гошка
закрыв глаза. Его разбудила Лизка. Она протянула ему
горсть семечек:

— Будешь лускать?

— Что? — спросил Гошка, открывая глаза.

— Спишь, что ли?

— Нет,— сказал Гошка и опять задремал.

После кино все расходились кучками. Возле крыльца
целой толпой стояли ребята и, ослепляя выходящих
электрическими фонариками, искали своих попутчиц.
Анатолий, который во время сеанса сидел у дверей, вышел
первый и подождал Гошку на улице. Они пошли вместе.
Впереди них шли Тюлькины. Глава семьи шагал посре-
дине, неся на руках девочку.

— Ну как картина? — спросил Анатолий. — Понра-
вилась?

— Понравилась,— ответил Гошка, зевая. — Спать
хорошо.

— Ты что, спал? Зря. А я люблю такие вещи. Вот я
читал книжку «Охотники за шпионами». Не читал?

— Нет.

— Про контрразведчиков. Интересно. Ты хотел бы стать контрразведчиком?

— Раньше хотел,— сказал Гошка.

— А теперь что ж?

— Не знаю. Некогда думать об этом. Своей работы хватает.

Они свернули на тропку и пошли по одному — Анатолий впереди, Гошка сзади. Слева чуть слышно журчала река, и вода, отражая неяркие звезды, неясно мерцала сквозь редкий камыш. Было совсем темно.

— Да,— сказал Анатолий,— ты Саньку не видел?

— Нет. Не видел.

— Когда картина началась, она пришла в клуб, все кого-то высматривала, а потом ушла.

7

Шесть дней, данных на подготовку к немецкому, прошли незаметно. К исходу шестого дня Гошка знал не больше, чем в первый день. Вечером, придя с работы, он сел у окна и раскрыл книгу.

За столом в ватных брюках и валенках сидел дядя Леша и набивал солью патроны для своего ружья. Иногда Гошка отрывался от учебника и смотрел, как старик сыплет в патрон щепотку серой, как весенний снег, соли и утрамбовывает ее желтым от самокруток пальцем.

Надвигались сумерки, но возле окна было еще довольно светло.

— Слышь, Гошка,— спросил хозяин,— у тебя ноги на погоду не крутит?

— Нет,— рассеянно ответил Гошка,— не крутит.

— А у меня крутит,— сказал дядя Леша и вздохнул. Ему очень хотелось поговорить с Гошкой, но Гошка, видимо, не был расположен к разговору. Дядя Леша почесал в затылке и снова принялся за свое дело.

С ведром в руках вошла Яковлевна.

— Так ты ще сыдышь! — возмутилась она, стаскивая у входа резиновые сапоги. — Я вже корову подоила, порося накормыла. Ой, Лешка, растащат у тэбэ склад — скажешь, шо я брэхала.

— Ладно тебе,— примирительно проворчал дядя Леша.— Иду.

Но пошел он не сразу. Сперва ссыпал патроны в парусиновый мешочек, потом перемотал портянки, надел тулуп и долго искал свою шапку. Наконец перекинул через плечо централку и пошел к дверям.

— Ну, я пошел,— сказал он, остановившись.

Яковлевна промолчала. Гошка был занят и тоже промолчал.

— Ну, я пошел,— повторил дядя Леша. И так как его никто не задерживал, он вздохнул и вышел на улицу.

Яковлевна вкрутила лампочку. Гошка пересел к столу.

В окно постучали. Гошка подумал, что это дядя Леша. Видно, забыл что-нибудь. Гошка выглянул в окно и увидел всадника. Это был бригадир первой бригады Сорока. На лошади он напоминал модель памятника Юрию Долгорукому, что украшала собой чернильный прибор председателя.

— Гошка! — Сорока откинул руку с нагайкой в сторону.— Гошка, гони до правления. Там тебя председатель ждет.

Он резко опустил руку. Лошадь испуганно шарахнулась и унесла его в сумерки.

На столбе перед конторой горела лампочка. Она освещала кусок двора и высокое крыльцо с покосившимися перилами. Возле крыльца на земле лежал старый дамский велосипед. По нему Гошка сразу определил, кто находится в конторе. Это был велосипед бригадира-строителя Потапова. Велосипед был старый-старый, и когда хозяин ехал на этой штуке, по всей Поповке был скрип.

Восемнадцать строителей сидели в конторе вдоль стен. Восемнадцать папирос мерцали в полумгле. Дым, слоями развешанный в воздухе, колебался. Мутный свет лампочки едва проходил через эти слои. За широким столом, малозаметный в дыму, сидел председатель и вертел в руках чернильницу, украшенную бронзовым Юрием Долгоруким, который напоминал бригадира Сороку.

Председатель недавно бросил курить. Он кривился и морщился, испытывая искушение, и, оставив чернильницу, отмахивался от дыма руками. Перед ним стоял Потапов и убеждал председателя в том, что лучшей бригады, чем та, что сидит в этой комнате, ему не найти во всем районе, и поэтому председателю нужно согласиться платить строителям по сто рублей на брата.

— Отстань,— сказал председатель устало.— Лучше отстань, Потапов.— И постучал пересохшей чернильницей по пружинящей крышке стола.

Потапов покосился на чернильницу, но, не отступая, спросил:

— Значит, не дашь?

— Не дам,— репительно сказал Пятница.

— Не дашь?

— Не дам.

— Дай закурить,— Потапов откинул в сторону руку.

Каменщик Валентин бросился к нему и с готовностью развернул портсигар. Некурящий Потапов закашлялся с непривычки и выпустил облако дыма в лицо председателю.

— Ладно,— сказал Потапов, покурив.— Последний раз спрашиваю: дашь или нет?

— Нет,— сказал председатель.

— Ладно. Тогда порвем договор. Завтра утром чтоб был полный расчет. Пошли, хлопцы.

Строители ушли.

— Георгий, открой окно,— попросил председатель, а сам пошел открывать другое.

Свежий ветер качнул сероватые занавески. По ступенькам крыльца вразнобой стучали сапогами строители. Потом раздался режущий ухо скрип и визг. Это ехал на велосипеде Потапов.

— Сволочь,— тихо сказал председатель и повернулся к Гошке.— Знаешь, зачем я тебя вызвал?

— Не знаю,— сказал Гошка.

— Завтра в Актабар эшелон с лесом приходит. Все машины туда бросаем.

— Меня не бросайте. Не поеду.

— Почему же это?

— У меня завтра экзамен. По немецкому.

— Ну и что? Нагрузишь там, это недолго... минут пятнадцать. Потом в школу поедешь.

Глаза у председателя были грустные и красноватые. Гошке вдруг почему-то стало его жаль, и он согласился:

— Ладно, поеду.

Утром, выезжая из гаража, он подобрал Анатолия. Машина Анатолия стояла в Актабаре на ремонте, и он сдрил в город на попутных. Ехали молча. Анатолий

насвистывал какую-то песенку. Гошка крутил баранку, вспоминая про себя правила спряжения глаголов.

Выехали за околицу. Высокое солнце било в глаза. Впереди показалось кладбище.

— Вот смотри, ходим тут, ездим, а потом все равно туда,— сказал Гошка.

— Боишься умирать? — спросил Анатолий.

— Боюсь.

— А чего бояться-то. Умрешь — не надо ни о чем заботиться, ни о чем думать. Немецкий учить не надо. Зачем жить хочешь?

— Не знаю,— сказал Гошка.— Наверно, из любопытства. Хочется знать, что завтра будет.

— Завтра дождь будет. Смотри,— Анатолий вытянул шею,— никак покойники.

При приближении машины с кладбища поднялся высокий и худой человек и, ведя в руках дамский велосипед, вышел на дорогу. Это был бригадир Потапов. А за ним потянулись к дороге остальные шабашники, каждый со своим инструментом, как оркестранты. Остановившись посреди дороги, Потапов поднял руку, словно приветствовал проходящие перед ним войска. Гошка остановился.

— До Тимашевки подвезешь? — спросил Потапов и поставил на ступеньку ногу в белом от пыли кирзовом сапоге.

— Уезжаете? — спросил Гошка.

— А чего ж делать? — Потапов тронул пальцем стриженные свои усы.— Председатель договор перезаключать не хочет, а нам что? Мы люди вольные, дефицитные, нас где хочешь возьмут. А оно ведь, как говорится, рыба ищет где глубже... Каждый свой интерес понимает.

— Не повезу,— сказал Гошка, выжимая сцепление.

— Как — не повезешь? — Потапов одной рукой ухватился за дверцу.— Мы же не задаром. По тройку с брата заплатим. Трижды восемнадцать — пятьдесят четыре. Заработать не хочешь, что ль?

— Погоди! — Анатолий выключил зажигание.— Давай по пятерке — повезем.

— Много больно,— замялся Потапов.

— Не хочешь, как хочешь. Поехали, Гошка.

— По четыре,— набавил рыжий и рыхлый каменщик

Валентин. Он был в милицейских галифе и в белых тапочках.

— По четыре с половиной,— предложил Анатолий.— И то себе в убыток.

— Ну и дерешь! — возмутился Потапов.

— Каждый свой интерес понимает,— процитировал его Анатолий.

— Ну и жох,— сказал, сдаваясь, Потапов.— Ладно, хлопцы, поехали, а то тут машины не дожدهшься.

«Дефицитные люди» горохом посыпались в кузов. Открыв дверцу, Гошка сказал:

— Садитесь все вдоль бортов, а то еще новынадасте, отвечай за вас.

Проехав с полкилометра по грейдеру, машина свернула вправо на едва заметную степную дорогу и остановилась. Анатолий вылез на подножку и сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Сейчас заскочим в бригаду. Там подборщик с осени остался, захватить надо. Мы бегом.

— Валяйте,— махнул рукой Потапов.

Машина снова тронулась в путь. По этой дороге машины ходили обычно только два сезона в году: во время уборочной и во время посевной. В остальное время дорога была пуста. Справа и слева, колеблемая тихим ветром, пыльно-зеленая, волновалась пшеница. Скоро шабашникам стало скучно, и они решили петь песни.

Когда б имел золотые горы,—

начал Валентин, и все подхватили:

И ре-еки, полные вина...

Шабашники пели нестройно, каждый старался всех перекричать. Анатолий прислушался.

— Поют? — спросил он.

— Пою! — подтвердил Гошка.

Когда спидометр отсчитал двадцать километров, Гошка посмотрел на Анатолия:

— Пожалуй, хватит.

— Давай еще,— сказал Анатолий.— Что тебе, бензину жалко?

— Нет, хватит,— сказал Гошка.

Машина медленно взбиралась па большую гору, похожую на верховое седло. Шабашники, сидя вдоль бортов, пели. Валентин, покраснев от натуги, вытягивал шею, и его писклявый бабий голос выделялся среди всех остальных. Потапов одной рукой придерживал велосипед, который лежал посредине и подпрыгивал на ухабах. Вдруг мотор зачихал, захлопал, и машина остановилась, немного не доехав до вершины сопки. Гошка и Анатолий выскочили из кабины и открыли капот.

— Карбюратор,— сказал Гошка.

— Трамблер,— возразил Анатолий.— А ну-ка ты,— обратился он к Валентину,— у тебя силы много. Покрути ручку.

Валентин крутил до тех пор, пока не взмок от пота. Потом крутили все остальные.

— Придется толкать,— сказал Анатолий, забираясь в кузов.— Я буду командовать. Раз-два, взяли!

Шабашники облепили машину, как мухи горшок со сметаной.

— Еще — взяли!

У Валентина от напряжения вздулись на шее жилы, и конопатое лицо его омылось румянцем. Бригадир Потапов шел бочком, упираясь в кузов одной рукой, осторожно, словно боялся прилипнуть.

— Ты, начальник, не стесняйся,— сказал ему Анатолий,— здесь все свои. Вот видишь, сама идет, только толкай.

Подталкиваемая тридцатью шестью руками, машина медленно перевалила через гребень сопки и, быстро набирая скорость, покатила под уклон.

— Стой,— устало махнул рукой Потапов.— Стой! — крикнул он, видя, что машина все удаляется.

— Стой! — заорали хором шабашники, и бабий голос Валентина снова перекрыл все остальные.

Валентин понял, что их обманули, и, работая локтями, побежал за машиной. Его рыжие волосы упали на лоб, придавая лицу выражение свирепости. За Валентином, широко расставив руки, бежал Потапов. За ними валили толпой все остальные.

Анатолий, стоя в кузове, поднял над головой измятую кепку:

— Привет бригаде коммунистического труда!

Впрочем, вряд ли те, к кому он обращался, могли его услышать.

У подножия сопки Гошка остановил машину и, вскочив в кузов, помог Анатолию сбросить на землю вещи шабашников.

Они торопились и один ящик бросили неосторожно, из него вывалились на дорогу топор, рубанок, ножовка и прочий плотницкий инструмент.

Последним полетел с кузова велосипед бригадира. Он ударился о землю, высоко подпрыгнул и, свалившись набок, прочертил рулем полосу в дорожной пыли.

— Поехали! — скомандовал Анатолий. — А то догонят, наkostenяют по шее.

Шабашники, размахивая руками, бежали с сопки, и уже совсем близко мелькали белые тапочки Валентина, когда машина тронулась и, обогнув сопку снизу, ушла по направлению к грейдеру.

— Небось рады, что мы с них денег не взяли вперед, — сказал Анатолий.

8

Несмотря на то что Гошка приехал на станцию рано, там уже была очередь на погрузку. Гошка поставил машину в хвост колонны и сел на подножку читать учебник. Просмотрев все страницы, он понял, что уже все равно ничего не успеет выучить, и ему оставалось только надеяться на учительницу, которая, по слухам, ставила тройки за одно только знание алфавита. «Как-нибудь, — думал Гошка. — Все сдал, а уж немецкий...»

Когда подошла Гошкина очередь, он поставил машину под погрузку и отдал накладную хромому, заспанному мужику. Тот долго держал накладную в корявых пальцах, рассматривал ее и, возвращая Гошке, сказал:

— А почему не подписано?

— Как не подписано?

— А вот не подписано. Видишь: «Подпись руководителя учреждения» — председателя, значит. Где она?

— Что ж делать?

— За подписью надо ехать. Давай освобождай место, другие ждут.

— Слушай. Ну председатель потом приедет, подпишет.

— Потом и получишь. Освобождай место.

Он был неумолим.

Гошка плюнул, заехал в ближайший переулочек и парковался на накладной несколько крючков и закорючек. Вышло довольно убедительно. Гошка вернулся на станцию.

— Так быстро? — удивился завскладом.

— Встретил его, ехал в райком, — сказал Гошка.

— Ну вот видишь, как хорошо получается. Открывай борт.

Хотя грузчики работали быстро, в школу Гошка все-таки опоздал. Экзамены уже кончились. Гошка встретил учительницу, когда она с маленькой сумочкой и букетом цветов выходила из класса. Это была не та учительница, о которой ходили такие добрые слухи, а другая — молодая, высокая, с пышной прической. Несмотря на свою молодость, учительница была закоренелой пессимисткой. Все ученики, по ее мнению, были неисправимыми лодырями.

— Экзамен уже окончен, — сказала она.

— А как же быть? — спросил Гошка.

Учительница равнодушно пожала плечами:

— Надо было раньше думать. Для чего-нибудь другого вы бы нашли время. А для экзаменов у вас его нет.

— Ну как же, я ведь готовился-готовился, — сказал Гошка, идя следом. — Может, примете, а?

То ли голос его звучал очень жалобно, то ли была другая причина, но учительница остановилась и сказала:

— Не знаю, что с вами делать. Я уже ключи отдала уборщице.

— Я сейчас возьму, — сказал Гошка и, не дожидаясь ответа, побежал искать уборщицу.

Учительница вошла в класс, положила на стол цветы, сумочку, достала из сумочки папиросу и сунула Гошке словарь:

— Переведите отсюда досюда.

Сама закурила и села на краешек парты у окна. Гошка трудолюбиво листал словарь.

— Ну что? — спросила учительница через несколько минут.

— Сейчас.

— Хорошо.

Подождала еще минуты три.

— Кончили? Нет? Сколько же вы перевели? Четыре

строчки? Можно бы и больше, если вы усердно готовились. Ну хорошо, читайте. Так. Так. Это слово читается так: лейбен. Читаете вы, надо прямо сказать, неважно. Ну, а что вы еще знаете из области немецкого языка? Основные формы модальных глаголов знаете? Не знаете? Скажите основные формы глагола «лерен».

— Лерен, лерте, гелерт.

— Правильно. Немен?

— Немен, немте, генемт,— охотно сказал Гошка и доверчиво посмотрел на учительницу.

— И это называется, вы знаете предмет,— с горечью вздохнула учительница.— Неправильно. Немен, нам, геномен. Не понимаю, зачем государство дает вам месячный отпуск.

— У меня не было отпуска.

— Ну да, вы — исключение.

Учительница взяла со стола цветы и сумочку и направилась к выходу, торжественно неся свою красивую голову с пышной прической.

— Может, я пересдам? — идя за ней, нерешительно спросил Гошка.

— Конечно, пересдадите. Осенью,— ответила учительница, не оборачиваясь.

9

Звездный вечер стоял над Поповкой, и луна, расколотившись, лежала в Ишиме. Гошка осветил спичкой часы и пошел домой. Он шел вдоль берега, раздвигая кусты, и пушистые листья скользили по его щекам. У песчаной излучины против бани Гошка хотел свернуть к дому, но услышал девичьи голоса. Гошка раздвинул кусты и увидел Лизку, которая, сцепив руками колени, сидела на бугре. Кто-то барахтался на середине реки.

— Эй, Лизка! — услышал Гошка Санькин голос.— Давай купаться!

— Холодно! — отозвалась Лизка.

— Глупая! — плывя к берегу, крикнула Санька.— Вечером вода всегда теплее!

Она подплыла к берегу и, все еще разводя руками, стала выходить из воды.

Гошка хотел выйти к девушкам, но передумал. Санька спросит, с чем поздравить. А с чем его поздравлять? Он притаился в кустах. Санька вышла и остановилась возле Лизки.

— Боишься? — спросила она. — А мне хоть бы что. Нисколючки не холодно.

— У тебя кровь горячая, — сказала Лизка.

Санька не спеша вытиралась. Осыпанная светом луны, она видна была смутно и в то же время отчетливо. Настолько отчетливо, что Гошке казалось: он видит, как с ее ступней сбегает в песок нестойкие капли воды.

— Красивая ты, Санька, — вздохнула Лизка. — С таких, как ты, наверно, картины рисуют.

— Правда, красивая?

— Правда, — сказала Лизка.

Санька тихонько засмеялась, а потом сказала грустно:

— Красивая, да смотря для кого.

— Все об Гошке своем переживаешь, — сказала Лизка. — А чего об нем переживать? Мало разве других парней?

— Парней много, — сказала Санька, — а Гошка один.

— Все они одинаковые, — сказала Лизка. — Вот Аркаша у меня... Вчера сидим на крылечке, он вот так взял за плечи: «Поцелуй, говорит, меня». — «А я, говорю, не умею целоваться». — «Ну, говорит, я тебя поцелую. Можно?» — «Можно, говорю, только осторожно». — «А больше, спрашивает, ничего не можпо?» — «Ишь ты, говорю, какой быстрый. Ты, говорю, это брось, не на ту попал». — Лизка усмехнулась. — Они ведь, мужики, все такие. Лишь бы обмануть. А ты ходи потом мать-одиночкой, это его не касается. Но меня не обманешь. Я ведь таких насквозь вижу. — Лизка засмеялась, потом сказала: — С ихним братом знаешь как надо? Сначала ты его замани. Делай вид, будто на все согласная. А как до чего дойдет, придерживай.

— И долго? — насмешливо спросила Санька.

— Долго, — деловито ответила Лизка, — до самого загса. И вся любовь.

— Это не любовь, — вздохнула Санька. — Это морока. Пойдем, что ли? Завтра рано вставать.

Санька натянула на себя прилипающее к телу платье и пошла впереди, неся в руках белые тапочки. Гошка по дождал еще немного и вышел из кустов.

Как-то после обеда Иван ходил по деревне и, показывая всем большой екатерининский пятак, хвастался:

— Вот поеду в Акмолинск. Машину куплю, буду ездить, как председатель.

Оказалось, что за этот пятак Иван продал цыганам колхозную корову. Цыган догнали, корову отобрали, а пятак остался у Ивана. Только с того дня мальчишки не давали пастуху прохода. Они ловили его где-нибудь на улице, и кто-нибудь самый бойкий допрашивал: «Иван, ты зачем продал цыганам корову? Вот я возьму тебя за верхнюю губу и отведу в милицию». Иван прятал верхнюю губу за зубы. «Ничего, я тебя за нижнюю отведу». Иван пытался спрятать и нижнюю, но это ему не удавалось, и он, сжав кулаки, молча бросался на своих обидчиков. Те, визжа и хохоча, разбегались врассыпную.

Но потом эту историю забыли даже мальчишки, и единственный, кто ее помнил, был Тюлькин.

В этот день Тюлькин открыл склад поздно и, сидя за деревянной перегородкой, ожидал, не придет ли кто за продуктами. Но никто не шел. Тогда Тюлькин повесил на двери склада большой висячий замок и присел на оглоблю поломанной брички, что стояла во дворе. На свежем воздухе сидеть было приятно. Тюлькин вытащил из бокового кармана четвертинку и стограммовый стаканчик, поболтал остатки, выпил не закусывая и бросил бутылку на кучу опилок, чтобы не разбилась. Закурил. Глядя на черную свинью, что рылась в корыте посреди двора, он думал о смысле жизни. «Вот, — думал он, — жрет свинья. А зачем жрет? Чтоб жирней быть. Разжиреет, скорее зарежут. А ведь небось тоже жить хочет». Не хотел бы Тюлькин быть свиньей. Ведь свинья только для того и живет, чтобы ее зарезали. Подрастет, откормится, потом ее под нож и заднюю ляжку на крюк. У Тюлькина таких крюков двенадцать штук в балку вбито.

Тюлькин перевел взгляд со свиньи на дорогу и, увидев на ней Ивана, понял: коров пригнали, время уже — обед. Увидев, что Иван идет к складу, догадался: тридцатое число. Пастуху, кроме трудодней, выписывали на каждый день литр молока и сто граммов сала. За салом Иван прихо-

дил в последний день каждого месяца, брал сразу три килограмма.

— Тюлькин, сало есть? — спросил он, подходя.

— На что тебе сало?

— Кушать буду.

— Куша-ать. У тебя вон губища какая — за все лето не сжуешь.

Иван, насколько это было возможно, поджал губы и, помолчав, напомнил:

— Тюлькин, давай сало.

— Ну ладно, — согласился Тюлькин. — Спляши барыню, тогда получишь.

Иван стоял не двигаясь.

— Ну, чего ж ты? Давай, давай, а то останешься без сала.

Иван постоял, подумал и стал нерешительно перебирать ногами.

— Ну, ну, быстрее, — подзадоривал Тюлькин.

Иван задвигал ногами быстрее. Это была не пляска, а какие-то нелепые прыжки, лишённые смысла и ритма. Иван уже полдня гонялся в поле за коровами и особенно за телятами, которые чуть что поднимали хвосты трубой и разбегались в разные стороны. Поэтому сейчас он быстро уморился. Пот струйками тек с висков, со лба, затекал в глаза. Не останавливаясь, Иван скинул с себя казахскую лохматую шапку, расстегнул гимнастерку и продолжал подпрыгивать на месте, широко открыв рот и бессмысленно пуча глаза. Тюлькин угрюмо подбадривал:

— Давай, давай работай, зарабатывай на сало.

Он смотрел на ноги Ивана и думал: «Хорошо быть дурачком, было бы чего поесть да где поспать, а там хоть трава не расти. И обижай его — не обидится, потому что дурак».

Гошка шел мимо склада в магазин за папиросами. Он случайно увидел пляшущего Ивана и подошел поближе.

— Давай, давай, — подбадривал Тюлькин, — вот и Гошка хочет посмотреть. Хватит барыню, давай русского. Вот так, да побыстрее, а то сала не получишь.

— Опять балуешься, Тюлькин, — сказал Гошка и повернулся к Ивану: — Иван, перестань плясать.

Иван перестал. Поднял с земли шапку и дышал тяже-

ло, по-рыбьи. Тюлькин посмотрел на Гошку, потом на Ивана и после некоторого молчания спросил:

— Ну, чего стал?

— Давай сало,— сказал Иван.

— А чего стал?

— Гошка сказал.

— Ну и проси у него сало,— посоветовал Тюлькин и, поднявшись, пошел прочь.

Гошка схватил его за рукав:

— Дай человеку сало.

— Вот ты и дай. Ты ведь начальник. Министр!

— Дашь сало?

— Не дам.

После выпивки Тюлькин становился храбрым.

У Гошки задрожали пальцы и кровь отошла от лица. Он сжал пальцы в кулак и двинул им Тюлькину в подбородок. Тюлькин прошел спиной вперед шага четыре и, споткнувшись, сел в пыль посреди двора возле свиного корыта. Свинья, испуганно хрюкнув, отбежала в сторону, потом зашла с другой стороны и снова принялась чавкать.

— Ну ладно,— сказал Тюлькин, трогая рукой подбородок.— Я тебе, Гошка, это припомню.

Он поднялся, сплюнул кровь с прикушенного языка и пошел прочь.

— Пойду скажу Петру Ермолаевичу, пусть он тебя на пятнадцать суток оформит.

— Сначала дай Ивану сало, а потом пойдешь жаловаться.

Тюлькин, не отвечая, прошел мимо. Гошка опять схватил его за рукав:

— Открой склад!

Тюлькин посмотрел Гошке в глаза: падо открывать.

Вечером к Гошке зашел Пятница. Сняв шапку и пригладив ладонью пушок на голове, он сказал:

— Ты что ж это, Яровой, рукоприкладством занимаешься?

— Каким рукоприкладством?

Гошка сделал вид, что не понимает, о чем речь.

— Ну как — каким? Вот Тюлькин жалуется, что ты его по физиономии съездил. Говорит: «В суд подам». Как же это получается? Я, конечно, па Отечественной не был, вра-

чи в армию не пустили, но у нас в Первой Конной за это знаешь что делали? Не знаешь?

Гошка нахмурился:

— А что у вас делали в Первой Конной, если кто-нибудь издевался над раненым или больным?

— То есть как это — издевался? Что мы, денкиницы, что ли? У нас такого не было.

— А у нас было.

— Что было? Расскажи.

Гошка рассказал. Теперь нахмурился председатель.

— Да, брат,— сказал он,— в Первой Конной за такие дела, пожалуй, к стенке поставили б. Ну, а как сейчас время не военное, то по морде, наверно, хватит.

Уходя, Пятница остановился в дверях и на всякий случай сказал:

— А вообще, Георгий, ты руки-то не особенно распушай. Не боксер.

Утром возле правления к Гошке подошел Иван и, протянув свой знаменитый пятак, сказал застенчиво:

— На, возьми.

— Зачем? — удивился Гошка.

— Машину себе купишь. Ездить будешь, как председатель.

11

В следующую субботу Илья Бородавка повесил на щите перед клубом афишу, извещавшую всех проходящих мимо, что в девять тридцать вечера в клубе начнется вечер молодежи. В программе — танцы под радиолу. Из всех видов культурно-просветительной работы Илья Бородавка пользовался в основном двумя: танцами и кино.

На должности заведующего клубом Илья оказался совершенно случайно. В прошлом году бывшая завклубом неожиданно вышла замуж за городского учителя и уехала. Полторы недели клуб был закрыт, и как раз в ту пору, когда с полевых станов все уже съехались в село. Из района никого не присылали. Молодежь роптала. Тогда председатель на очередном собрании колхозников спросил, не хочет ли кто занять освободившуюся должность. Все молчали. Знающих это дело людей не было, да и маленькая зарплата

заведующего никого не устраивала. Наконец поднял руку счетовод Илья Бородавка и сказал тихо, но решительно, как будто шел добровольцем в опасную разведку:

— Я. Разрешите мне пойти.

Ему разрешили. Все были довольны. Правда, председатель сказал, что Илья на должность назначается временно, пока не пришлют кого-нибудь с образованием, — однако всем было ясно, что с образованием никого не пришлют.

Илья взялся за дело со всей решительностью. Отремонтировал сцену, кинобудку, поставил несколько новых скамеек, а самое главное — потребовал у колхоза денег на покупку нового рояля. Рояль купили. Но так как никто не умел на нем играть, инструмент стоял без дела в глубине сцены. Илья сам стирал с него пыль, а чтобы никто без толку не стучал по клавишам, положил на крышку табличку: «Руками не трогать!» Эта заповедь была священной, и никто не решался прикоснуться к дорогому инструменту, кроме самого Ильи, который изредка, когда в клубе никого не было, открывал крышку, трогал наугад какой-нибудь клавиш и, приложив ухо к роялю, долго прислушивался к затихающему звучанию струн.

В этот день Гошка поздно вернулся из Актабара и, не заезжая ни домой, ни в гараж, остановился возле клуба. Так, в замасленных брюках, гимнастерке, кое-как очистив сапоги о скобу, прибитую возле крыльца, он вошел в клуб. Танцы были в полном разгаре. Вся молодежь была в клубе. Хромовые сапоги Аркаши Марочкина осторожно поскрипывали рядом с Лизиными танкетками. Среди танцующих были две девушки-студентки, приехавшие из города на каникулы. Девушки эти танцевали только вдвоем и только «стилем». Во всяком случае, они сами так говорили. Должно быть, в городе, где они жили, девушки никогда не были «стилягами», но уж очень заманчива перспектива взглянуть в родной деревне по-иностранному.

— Гошка, привет!

Это крикнул Анатолий. Он танцевал с фельдшерницей Азалией, женой тракториста Степана Дорофеева. Сам Степан возле стены играл на маленьком столе в бильярд. Когда подходила его очередь, Дорофеев прикладывался к кию небритой щекой, долго целился, как из ружья, и бил каждый раз мимо. Потом отдавал кий напарнику, а сам ревниво глядел туда, где его жена танцевала с Анатолием.

Потом стали играть в почту. На блузках и пиджаках танцующих появились бумажные померки. К Гошке подошел Илья Бородавка и тоже вручил номерок. Гошка приколот его к гимнастерке и почти тут же получил анонимку: «№ 27 в личные руки. Вам шлет чистосердечный пламенный привет молодая и прекрасная принцесса».

Гошка посмотрел в глубину зала. «Молодая и прекрасная принцесса», отворачиваясь, смущенно сверкнула «фиксой».

Гошка танцевать не умел, и делать ему в клубе было нечего. Он пришел с единственной целью — увидеть Саньку. Но Саньки не было. Гошка, постояв еще немного возле бильярда, стал пробираться к выходу. Именно в это время он увидел Саньку. Она вбежала в клуб в светлом платье, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. И тут же к ней подлетел незнакомый парень из строительной бригады, недавно присланной из района. Он хотел, видно, пригласить Саньку на танец, но неожиданно между ним и Санькой встал Анатолий. Он что-то сказал Саньке, потом парню. Санька улыбнулась и положила руку на плечо Анатолию. Все это Гошка видел издали. Он стоял возле стены и смотрел, как легко и свободно кружит Анатолий Саньку, и в это время завидовал своему другу. Вот они прошли почти полный круг и подошли к Гошке. Анатолий взял Саньку под руку и, подведя ее к Гошке, сказал:

— Ну, а теперь вы станцуйте вдвоем, а то у меня нога что-то заболела.

— Я не умею танцевать,— сказал Гошка и покраснел, сам не понимая почему.

— Врет,— сказал Анатолий Саньке.— Танцует лучше всех. Балетмейстер.

Они прошли два круга. Гошка танцевал первый раз в жизни. Он держал Саньку за талию, стараясь это делать легко и свободно, и все-таки ему казалось, что держится он за горячий утюг. Кроме того, не получалось самое главное. Его кирзовые сапоги казались ему огромными, как пароходы. Он все время боялся наступить Саньке на ногу и смотрел вниз.

— Не смотри под ноги! — сказала Санька.

Но не смотреть он не мог. Ему было страшно. Его спасла сама Санька. Когда они проходили мимо дверей, она сказала:

— Выйдем на улицу. Жарко.

Минут через двадцать из клуба вышла Лизка. Утираясь платком, она увидела стоявшую в стороне машину. В кабине кто-то сидел, кто-то смеялся, кто-то целовался в кабине. Лизка из любопытства прислушалась к смеху и узнала Гошку и Саньку. Лизка вернулась в клуб. Аркаша пригласил ее на танго. Лизка танцевала, и выражение грустной задумчивости не сходило с ее лица.

— Ты чего? — взглядываясь в ее лицо, спросил Аркаша.

— Ничего, — сказала Лизка, — ничего. — И вздохнула.

«Нешто так можно, с первого вечера...» — подумала она осуждающе.

12

— Ну чего, хватит, что ли, месить? — Лизка вышла из круга и выставила вперед вымазанную в глине ногу: — Саня, слей-ка, ноги помою. Да не сильно лей-то, а то еще раз к колодцу бежать...

Санька осторожно наклонила ведро. Струйка воды побежала по Лизкиной ноге и, смешиваясь с глиной, стекала на землю.

— Вчера Степан Дорофеев меня на мотоцикле катал. Только из-за магазина выскочили, и свет в аккурат на мельницу попал. А там двое как вскочат да как шарахнутся за мельницу! Парень с девкой. Кто б это, думаю, был, а? — Лизка скосила глаза на Саньку.

— Что у тебя за шпионские замашки, — поморщилась Санька. — Знаешь, что мы с Гошкой были. Ну и что?

— А чего это вы там делали?

— Да ничего не делали. Сидели и разговаривали.

— Девушки, скажите, пожалуйста, как пройти к правлению?

На дороге с чемоданом в руках стоял незнакомый, городской, судя по одежде, парень. На нем были простроченные из простой ткани брюки, которые в городах называют джинсами, желтая в клеточку рубашка навыпуск.

— А вам кого надо? — любопытствовала Лизка.

— Ну кого... председателя, что ли.

— А-а... Ну, пойдешь, значит, прямо, потом налево,

потом опять прямо, тут тебе по правую руку и будет правление.

— Спасибо.

Парень пошел.

— А председателя-то в конторе нету. Его раньше вечера не поймаешь! — крикнула Лизка вслед приезжему и посмотрела на Саньку. — Кто такой, как думаешь?

Санька пожала плечами. Лизка проводила парня долгим взглядом и опять повернулась к подруге:

— Значит, вы там сидели и разговаривали?

— С кем?

— Ну с Гошкой-то.

— Честное слово, сидели и разговаривали.

— На мельнице? — усомнилась Лизка. — Поговорить, я думаю, и возле хаты на лавочке можно.

— Какая ты умная! — Санька вздохнула. — Ничего такого у нас не было.

— И не будет, — подставляя другую ногу, насмешливо поддержала Лизка.

— Будет или не будет, не знаю, а пока не было. Понимаешь, Лизка, боюсь я этого. Говорят, ребята после этого уже не любят. А вдруг Гошка меня разлюбит?

— Или бросит, — сказала Лизка.

— Нет, разлюбит.

— Ну это все равно, — сказала Лизка. — Что разлюбит, что бросит — все равно.

— Нет, Лизка. — Санька поставила ведро на землю. — Самое страшное — когда разлюбит. А там уж бросит или не бросит...

13

Утром Илья Бородавка пришел в клуб и заперся в библиотеке. От нечего делать занялся перестановкой книг. Каждую книгу он снимал с полки, обтирал байковой тряпкой и ставил на прежнее место. Увлеченный этим занятием, он не сразу услышал, что кто-то играет на его любимом рояле. Илья прислушался. Нестройные звуки неслись из клуба. Илья почувствовал, что внутри у него что-то оборвалось. С тряпкой в руках он вбежал в клуб. Какой-то парень в узких брюках и широкой клетчатой рубахе навывпуск

(«Должно быть, стилияга», — подумал Илья) сидел за роялем и бойко барабанил по клавишам всеми десятью пальцами. Илье было бы легче, если бы его самого стукнули по голове. Он подошел к парню и вежливо сказал:

— Молодой человек, на инструменте разрешается играть только музыкантам, которые умеют.

При этом Илья поднес ко рту руку и каплянул в кулак, должно быть, для внушительности.

— А я немножко умею, — сказал неуверенно парень.

Илья с сомнением посмотрел на его короткие, пухлые пальцы и сказал:

— Что-то не верится. А ну исполните что-нибудь.

— А что именно?

— Полонез Огинского.

Это было единственное произведение из всей классической музыки, которое знал Илья.

Парень пожал плечами и ударил по клавишам. Сначала пальцы его ходили медленно, как бы нехотя, но потом они стали работать все быстрее и быстрее, и Илья уже не успевал следить за ними. Иногда парень высоко взмахивал рукой и с размаху ударял по клавишам.

— Да, — сказал Илья восхищенно. Он готов был проследить от умиления. — А я подумал, что вы стилияга, — виновато признался он. Помолчал и спросил нерешительно: — А фокстрот какой-нибудь вы тоже умеете?

А потом в клуб пришел председатель. В последние дни его мучали приступы ревматизма, и он ходил опираясь на палку. Увидев незнакомого молодого человека, председатель решил, что это, должно быть, из обкома комсомола. «Опять какая-нибудь проверка», — недовольно подумал он. Однако он никак своего недовольства не проявил и, протянув гостю руку, представился:

— Пятница.

— Корзин, — ответил парень. Потом подумал и уточнил: — Вадим.

— Культуру проверять? — полуутвердительно спросил Пятница.

— Нет.

«Заливает», — подумал Пятница и на всякий случай стал рассказывать приезжему, какая работа по части улуч-

пения культурно-просветительной работы ведется в Поповке и в целом по колхозу.

— Вы меня, очевидно, принимаете за кого-то другого,— перебил Вадим.— Я приехал сюда работать. Мне советовали в ваш колхоз.

— В наш колхоз? А-а,— догадался председатель,— молодой специалист? Агроном?

— Нет.

— Зоотехник?

— Нет.

Пятница перебрал в уме еще несколько специальностей и посмотрел на гостя.

— Ну, а кто же ты?

— Я? Так просто... человек.

— Ну, а все-таки?

— Я из Москвы... учился в институте...

— Исключили?

— Нет, сам ушел.

— Зачем?

— Не знаю. Хочу поработать.

— Понятно,— сказал Пятница.— Нужен жизненный опыт.

— Откуда вы знаете? — удивился Вадим.

— Знаю,— сказал председатель.— Не ты первый, не ты последний. К нам сюда многие приезжают.— Он выдержал паузу.— Потом уезжают. Я для них в копторе расписание поездов повесил. Будет нужда, заходи, посмотришь. А пока устраивайся, куда-нибудь определим.

14

Всей деревне было известно, что в свободное время Илья Бородавка пишет стихи. Писать Илья начал, можно сказать, по необходимости. Вот уж лет пять он был бессменным редактором стенгазеты. А так как никому до газеты не было дела и никто не писал для нее заметок, Илья решил собственными силами сделать ее интересной и содержательной. Так с некоторого времени в газете стали появляться стихи за таинственной подписью «Фан Тюльпан». Илья вывешивал газету в коридоре клуба и в полуоткрытую дверь библиотеки ревниво следил за тем, как относятся

к его творчеству читатели. Читатели читали, усмехались, а встречая завклубом, любопытствовали:

— Кто это у нас, интересно, поэт такой?

— Знаем, где взять,— отвечал Илья хотя и некстати, зато загадочно.

Примерно месяц тому назад Илья собрал несколько своих лучших, по его мнению, стихотворений и отправил в столичную газету с таким письмом:

«Дорогая редакция!

Я, Фан Тюльпан (настоящее фамилие Бородавка), посылаю вам несколько своих произведений на сельскохозяйственную тематику. Буду рад увидеть их на страницах печати вашей газеты. Сам я рождения двадцать седьмого года и заведу клубом в селе Поповка. Являюсь редактором степной газеты. В заключение разрешите выразить надежду на ваше благополучное внимание.

Остаюсь Илья Ефимович Бородавка».

Как только приходила почта, Илья брал нужную газету, запершись в библиотеке, просматривал ее и оставался разочарованным.

Писал Илья, будто глыбы ворочал,— потел, пыхтел, но все-таки ухитрялся сочинять в день по два, по три, а то и по четыре стихотворения. Написанное складывал в бумажный мешок и хранил его под кроватью.

Вернувшись после разговора с Вадимом из клуба, Илья сел за стол и минут за пятнадцать написал стихотворение. Он даже сам удивился такой быстроте. Перечитав стихи и поправив на ходу одну строчку, Илья пошел за женой, которая при свечке чистила курятник.

— Слышь, Пелагея,— сказал он, встав в дверях,— иди в хату, стих расскажу.

Пелагея поставила в угол ведро и лопату, загасила свечу и послушно пошла за мужем.

— Вот, слухай,— сказал Илья.— «Подруге жизни Пелагее Бородавке — тебе, значит,— этот стих посвящает автор:

Я помню чудное мгновенье,
Я шел по улице тогда,
И ваши очи голубые
Взглянули ласково в меня.

И понял я, что жизнь наша
Всегда имеет два пути...»

Пелагея легла на стол засалепным животом, подперла голову, смотрела в окно и думала о своем. Вот уже шесть лет, как они с Ильей расписаны, а детей все нет да нет. Соседка Татьяна восьмерых родила, троих рожать отказалась — лишние, видать. А тут хоть бы один... В прошлом году ездила в город к врачу специальному. «Ничего, говорит, у вас нет, дети должны быть». Татьяна вчера приходила, посетила, семечки поплевала. «Чего-то, говорит, хочется еще родить. Пузо поносить хочется». А Пелагее разве не хочется?

...И я сказал вам: «Здравствуй, Паша,
Я долго ждал вот здесь тебя...»

В дверь постучали. Илья недовольно поморщился и, закрыв тетрадку, пошел открывать. Вошла Яковлевна. Села к столу, развязала ситцевую хусточку:

— Дуже душно. Там, у клуби, якийсь чи поет, чи поёт, в общем, вирши читает...

— Вадим, наверно? — встрепенулся Илья.

— Ну да, мабуть, Вадим. Той студэнт, шо прыхав. Я ходыла грабли шукать. Мои вчора стоялы бия сарайчику, а сьогонди вышла сино сгрэбать, дывлюсь — нэмае. Чи пацаны утяглы, чи шо. Пишла я до Павла-баптиста. «Дай, кажу, Павло, грабли на пивчаса, бо мои дэсь дилысь». А вин: «С сожалением, каже, дав бы, но самому зараз нужни». Бреше, як собака. Ни разу из хаты нэ выйшов. Пиду, думаю, до Гальченка, у нього попрошу. А Гальченка дома нэма, и собака коло двору бигает. Ну я повернулась тай назад. Трэба, думаю, в клуб зайты. Зайшла так, стала бия двэрэй, а той студэнт вирши читает. Шось такэ про любовь.

Илья схватил кепку и побежал к дверям.

— Ты куда? — спросила Пелагея.

— Сейчас приду, — сказал Илья.

15

В клубе возле сцены стоял окруженный колхозниками Вадим и, выбрасывая вперед правую руку, читал:

Мы в угольных шахтах потели,
Пилили столетние ели.
Мы к цели брели сквозь метели,
Глотая махорочный дым.

Фуфаяк прокисшая вата
Мне тоже знакома, ребята,
Привыкли кирка и лопата
К рабочим ладоням моим.

— Здорово протаскивает! — сказал восхищенно Марочкин.

— Я чего-то не понял, — сказал стоящий рядом с Марочкиным Анатолий. — Это кто там в шахте потел? Ты, что ли?

— Нет, не я, — смутился Вадим. — Нельзя так буквально понимать стихи. Я — это мой лирический герой.

— А я думал, ты — это ты и есть, — сказал Анатолий.

— Ну это все равно, что я. Это мой внутренний мир.

— А я думал, ты и снаружи такой, — разочарованно сказал Анатолий, и все засмеялись.

Только Гошка дернул Анатолия за рукав и сказал тихо:

— Брось, зачем ты?

Илье стихи Вадима очень понравились. «До чего складно, — подумал он с завистью. — Мне бы так». С трудом протолкавшись к поэту, он попросил:

— Можно вас на минутку?

— Можно.

Они заперлись в библиотеке и в течение полутора часов вели секретный разговор, после которого Илья сбегал домой и, достав из-под кровати заветный лирический мешок, вернулся в клуб.

— Вот, — сказал он, передавая мешок Вадиму, — здесь все. Только, смотри, чтоб ничего не пропало.

Илья шел домой, и настроение у него было хорошее. Ему было приятно оттого, что он поговорил сегодня с таким интересным человеком. Все-таки образованный и пишет. И печатался в четырех газетах и одном журнале. Когда они сидели в библиотеке, Илья прочел Вадиму несколько своих стихотворений. Вадим стихи похвалил, но сказал, что на месте Ильи писал бы прозу. Например, записки ведущего клуба.

— Опишите обычные свои трудовые будни. По-моему, это будет очень интересно и актуально.

Придя домой, Илья достал из тумбочки чистую тетрадь и написал на обложке:

«ДНЕВНИК

ЗАВЕДУЮЩЕГО КЛУБОМ
ИЛЬИ ЕФИМОВИЧА БОРОДАВКИ.

Начат в селе Поповка 14 августа 1960 года».

Илья открыл первую страницу и своим красивым почерком написал: «Сегодня в наше село Поповка прибыл молодой поэт. Он охвачен патриотическим подъемом убрать казахстанский миллиард...»

Дальше ничего не писалось. Илья посидел, поскреб обратной стороной ручки в голове и, ничего не придумав, лег в постель, к теплому телу жены.

Когда Вадим шел с мешком по улице, встретился ему Анатолий и спросил удивленно:

— Что несешь?

— Илья Бородавка,— сказал Вадим, вытягивая руку с мешком.— Собрание сочинений в четырех мешках. Мешок первый.

16

В заливных лугах за Ишимом косили сено. Гошка вез сено в Поповку. Машина была перегружена, и Гошка с тревогой замечал, что на ухабах передние колеса отрываются от земли. Подъезжая к мосту, он сбавил скорость, но это его не спасло. Мост был горбатый, и на самом въезде машина задрала нос и поползла назад. Гошка выжал сцепление и тормоз. Машина встала на задний борт и покачивалась. Река, Поповка, горизонт ушли вниз. Над ветровым стеклом висели облака. Гошка выругался и вылез из кабины.

Машина стояла на заднем борту и сушила на солнце передние колеса.

Подъехал Анатолий. Он обошел машину и почесал в затылке.

— Дела! А у меня и троса буксировочного нет.

В кабине у него сидел Вадим.

— Эй, Вадим! — крикнул ему Анатолий.— Сбегай в правление, пускай трактор сюда гонят.

Вадим вылез из кабины и нехотя затрусил в гору.

— Бегун,— глядя ему вслед, проворчал Анатолий.— Слушай, Гошка, ты зачем Саньке разрешаешь с ним по вечерам заниматься?

— А что? У них же репетиции.

— Репетиции... Смотри, дело, конечно, не мое...

— А что?

— Да ничего! Часто у них репетиции.

— Отстань.

В последние дни он почти не видел Саньку. Работала она по-прежнему на стройке, где Гошка уже не бывал. А по вечерам Санька уходила в клуб и пела под аккомпанемент Вадима разные песенки. Времени для свиданий не было. Отчасти такое положение вещей Гошку даже устраивало — ему надо было готовиться к передаче немецкого. Но какая-то смутная, еще не осознанная тревога волновала и его.

Гошка поднял с земли щепочку и стал счищать налипшую на сапоги глину. Потом разогнулся и увидел Саньку. Перепрыгивая через лужи, Санька бежала к реке. Косынка у нее развязалась, она на ходу сорвала ее с головы и бежала, размахивая косынкой, как флажком.

— Уф! — Санька перевела дыхание и посмотрела на Гошку.— А Вадим мне сказал, что ты совсем перевернулся.

— А ты испугалась?

Санька посмотрела ему в глаза.

Испугалась. Видно по ней. При чем здесь Вадим?

Гошка насмешливо взглянул на Анатолия.

— Чего ты на меня уставился? — спросил Анатолий.

— Ничего. Вон трактор идет.

От Поповки к реке торопился «Д-54». Из его кабины высывалась кудрявая голова Аркаши Марочкина.

Как только начали убирать силос, Саньку перевели на новую работу — весовщицей на автомобильные весы. Теперь она часто виделась с Гошкой, потому что, перед тем как везти силос к яме, Гошка должен был заезжать взве-

пивать машину. Время было горячее, перекинуться словом некогда, и все-таки, издали завидев Гошкин «ЗИЛ» с покореженным левым крылом, Санька радовалась, что вот опять она сможет увидеть его.

В этот день Гошке не повезло. С утра он проколол заднюю камеру, и, пока менял колесо, другие сделали уже по две ходки, а Павло-баптист успел сделать три. Смонтировав колесо, Гошка гонял машину на полной скорости, чтобы догнать других, но тут новая неприятность — сломался комбайн.

Когда в конце дня Гошка подъехал к весам, на них стояла машина Кадырской автобазы. Шофер, здоровенный парень с выпирающей под майкой грудью, размахивая руками, спорил о чем-то с Санькой.

— Вот, — сказал он подошедшему Гошке, — на принцип идет. Одну ходку, говорю. За свое, что ли, боишься?

Сев в кабину, он сердито хлопнул дверцей, так что весы ходуном заходили, и укатил.

«Здорово Санька его! — въезжая на весы, подумал Гошка. — Какой умный, ходку ему».

Санька поставила рычаг весов на защелку и, посмотрев в свой блокнотик, сказала неуверенно:

— Гошка, я тут что-то напутала. У тебя шесть ходок только?

— Правильно. — сказал Гошка. — Шесть.

— Как же это? У других по восемь, по девять...

— Так получилось. Я много стоял.

— Ну ладно, — сказала Санька и стала заполнять путевку. — Восемь ходок хватит?

— Ты что? — Гошка вырвал путевку из ее рук. — Не надо.

— Ну, а чего? Пускай, — просительно сказала Санька.

— Не надо, Саня, обойдемся.

— Как хочешь! — Санька обиженно поджала губы. — Я хотела как лучше.

— Разве так можно, Саня? — сказал Гошка и взял Саньку за локоть. — Ведь ты ему воп не приписала.

— Так то же ему... — сказала Санька и расплакалась. — Так то ж ему... Проезжай давай. Не мешай работать.

Накануне концерта художественной самодеятельности Санька и Вадим поздно задержались в клубе. Ушли участники хора, ушли трое исполнителей одноактной пьесы про лодыря «Баранчук проснулся», а Вадим еще долго сидел за роялем и заставлял Саньку повторять то ту, то другую строчку «Подмосковных вечеров».

— Ты, пойми, это твой коронный номер. Ты должна исполнить это с блеском. Ты должна исполнить это не хуже, чем... — он назвал фамилию известной певицы.

— Сравнил! — сказала Санька. — Она певица, а я кто?

— Горшки обжигают не боги, — сказал Вадим. — Надо работать. Способности у тебя есть.

Он закрыл крышку рояля, и они вышли в коридор. Санька смотрела, как Вадим возится с дверным замком, все никак не может закрыть его. Станный человек этот Вадим. Он ни к чему не приспособлен, ничего не может. Его сейчас поставили работать грузчиком на силосе, это выматывает его, но вечером он аккуратно приходит на репетиции и занимается в клубе допоздна. Он не похож ни на Гошку, ни на Анатолия, ни даже на тех летчиков, которых она знала в своем городе.

Вадим говорит туманно и, наверно, поэтому красиво. И его хочется слушать. Он много знает. И совсем непонятно, зачем он сюда приехал и что ему здесь нужно.

— Пойдем!

Вадим наконец справился с замком. Они вышли на улицу.

Санька оглянулась вокруг, но ничего не увидела.

— «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит», — с чувством прочел Вадим. — Красиво. Люблю ночную степь. Ты знаешь, когда я учился в школе, мы ходили в турпоходы. Больше всего, Саня, я любил ночные привалы. Пылает огонь, трещит хворост, и искры уносятся в синюю тьму. Сейчас бы пойти в поход. Далеко. Километров за сто. И чтобы вокруг ни деревни, ни человека — ничего и ничего.

По улице мимо клуба шли парни с гармошкой. «Увидят с Вадимом, сплетен будет...». — подумала Санька и заторопилась.

— До свидания, Вадим, я пойду.

— Уже уходишь? — грустно спросил Вадим. — Хочешь, я тебя провожу?

— Нет, нет, я сама.

Она пошла домой и думала о Вадиме. Зачем здесь живет этот парень? Хочет в поход ходить. На сто километров. Санька не слышала, чтобы у кого-нибудь из ее знакомых возникло такое желание. Вот хоть бы у Гошки. Гошка... Конечно, он прав в этой ссоре. Но Саньке тоже не хотелось сдавать позиции. И вот уже четыре дня они не разговаривают. И опять виновата она. Гошка раза три пытался заговорить, но Санька каждый раз становилась глухой. Гошка ездил злой и измученный. «Надо будет завтра помириться с ним», — подумала Санька и ускорила шаги. Пора было спать.

19

Над Поповкой плыли облака настолько тонкие и прозрачные, что сквозь них просвечивали звезды. Дядя Леша расправил в бричке слежавшееся сено и, улегшись на него, положил рядом с собой ружье-централку. Спать не хотелось. Сегодня было заседание правления, и на нем решили платить колхозникам от шестидесяти лет и старше пенсию, как на производстве.

Яковлевна, которая рассказала об этом дяде Леше, насчет размера пенсии ничего толком не знала. Вроде бы должны платить по тридцать трудодней в месяц, да еще надбавка за выслугу лет. За двадцать пять лет — десять процентов, за тридцать лет — не то пятнадцать, не то двадцать процентов. Дядя Леша сначала подсчитал, сколько получится, если надбавка будет двадцать. Вышло неплохо — тридцать шесть трудодней без всякой работы. А если пятнадцать. Дядя Леша снова стал подсчитывать, но тут же сбился со счета. Он плюнул с досады и стал пересчитывать еще раз, но на этот раз его сбили Гошка и Санька, которые шли мимо склада и разговаривали о чем-то. «Может, насчет пенсии», — подумал дядя Леша и прислушался.

Говорила Санька:

— Ты, Гошка, хороший, только... ну я не знаю, как сказать. Вот смотри: ночь, степь... Ты хотел бы пойти в поход далеко-далеко, километров... на сто?

— Нет, не хотел бы,— сказал Гошка.— Мы как-то в армии ходили на двадцать пять километров, я портянку плохо намотал и ногу стер до крови.

— При чем здесь портянка? — вздохнула Санька.

— Как — при чем? Чтобы ходить в походы, надо уметь портянки наматывать.

— Вот видишь... портянки. А вот скажи, ты хотел бы совершить какой-нибудь подвиг?

— Зачем?

— Ну ни зачем. Просто так.

— Просто так не хотел бы,— сказал Гошка.— Вот если б для дела...

— А для мепя?

— Для тебя?

— Да, для меня. Соверши для меня какой-нибудь подвиг.

— А какой? Ну хочешь, я тебя... па руках понесу?

— Понеси меня на руках,— упавшим голосом сказала Санька.

Дядя Леша не поверил своим ушам, приподнялся на локте и неодобрительно посмотрел вслед уносящему Саньку Гошке. Виданное ли дело — девок на руках носить! И вслух передразнил: «Хочешь, я тебя на руках понесу?»

Чудная молодежь пошла! Он свою жену никогда на руках не носил. Да и то сказать, в ней и смолоду пудов шесть было...

— Стой! Кто идет? — крикнул дядя Леша и на всякий случай потянул к себе заряженное солью ружье.

— Я,— ответила, приближаясь, расплывчатая в темноте фигура, и дядя Леша узнал в ней собственную супругу.— А я уж тебя хотел солью,— сказал дядя Леша.— Чего пришла-то?

— Та вот сметанки тебе принэсла. Исты будэшь?

Дядя Леша только сейчас вспомнил, что он сегодня не ужинал. Он встал с брочки и, разминая затекшие ноги, сказал:

— Пойдем, вон там, на приступочках, посидим.

— А ружье где?

— Там, в бричке. Нехай лежит.

Яковлевна размотала тряпку и вынула из нее маленький глечик со сметаной. Дядя Леша ел сметану долго, потом вымазал остатки хлебом и положил корку в глечик, потому что выбрасывать грех. Вытер губы, посмотрел издачающе на жену и поманил ее пальцем:

— Пойди-ка сюда.

— Чего тебе?

— Иди, иди, не укушу.

И когда Яковлевна подошла, дядя Леша неожиданно обхватил ее руками и попытался приподнять. Яковлевна, вырываясь, размахивала руками и кричала полусердито:

— Пусты... дурэнь старый... Тоже выдумал шутки...

С годами дядя Леша ослаб, а жена, видимо, еще прибавила в весе. Дядя Леша отпустил ее и, махнув рукой, сказал огорченно:

— Ладно, иди... бомба водородная.

Яковлевна ушла. Дядя Леша долго вздыхал, думая об ушедшей силе, но потом мысли его опять вернулись к вопросу о пенсии. Дядя Леша подумал, что, когда ему назначат пенсию, он вместе с женой уедет к сыну, который служит летчиком где-то на Кавказе. Он подумал о том, как обрадуется сын, и представил себе эту встречу в лицах.

— «Здравствуй, сынок»,— сказал дядя Леша слабым голосом, обращаясь к воображаемому сыну, и сам себе ответил радостно: — «Здравствуйте, батя! Очень радый вас видеть! Как доехали?» — «Ничего, спасибо...»

— С кем это ты разговариваешь?

Дядя Леша вздрогнул и увидел перед собой Гошку. Проводив Саньку, Гошка возвращался домой.

— С собой. Это мне по должности моей одинокой полагается,— пояснил дядя Леша.— Из-за скуки своей разговариваю. Дома хоть с бабой поговоришь, а здесь...— сторож махнул рукой.

С бабой! Вот живет человек всю жизнь со своей женой и всю жизнь зовет ее «баба». И, может, за всю жизнь ласкового слова ей не сказал.

— Дядя Леша, а ты свою бабу любишь?

— Чего?

— Ну, она у тебя хорошая?

— Да как тебе сказать... — дядя Леша задумался. — Ничего вроде бы. Тяжелая она, — вздохнул он, вспомнив недавнее.

20

Экзамен принимала старая Гошкина учительница, которая не была требовательной. Она заставила прочесть несколько строк и проспрягать два глагола. И Гошка испытал то едва ощутимое чувство легкой обиды, когда требуют очень мало, а ты способен на большее. Потом Гошка пошел к директору, и ему тут же вручили хрустящий аттестат. Гошка пожал протянутую ему холодную руку директора.

«Ну вот, — подумал он, — среднее образование». Оно ему досталось с таким трудом, и он даже удивился, что особой радости по этому поводу не было. «Так, наверно, всегда, — подумал он, — когда добьешься чего-нибудь, уже неинтересно». Сейчас все ему почему-то давалось очень легко. Даже машина завелась с пол-оборота.

Выезжая из брода, Гошка увидел на берегу человека. Человек поднял руку. Гошка затормозил.

— А, наше вам! — в восторге закричал человек и сверкнул стальными зубами. Это был тот самый фотограф, с которым Гошка писал сочинение. Фотограф был тогда первым из заочников, кто завалился. — До Ивановки подвезешь? — спросил он.

— Садись.

— Свой парень, — сказал фотограф, влезая в кабину, но, когда немного проехал, вдруг спросил озабоченно: — А сколько возьмешь?

— Десятку.

Фотограф дернулся к дверце:

— Останови.

— Зачем?

— Ох ты — десятку! Другие и тройку рады.

— Ладно, сиди. Ничего я с тебя не возьму.

— Ха-ха, шутник! — радостно воскликнул фотограф и, удобно устроившись на сиденье, начал рассказывать,

что, кроме сочинения, он завалил и геометрию с тригонометрией и химию, но ему наплевать, потому что сейчас среднее образование — все равно как раньше четыре класса, и вообще на своей работе он обойдется без него.

Вылезая против Ивановки, он спросил:

— Может, все же возьмешь трешницу-то?

— Вылазь.

— Как хочешь, — сказал фотограф и, поправив на бедре фотоаппарат, пошел прочь.

21

В первый же день уборки Илья Бородавка отобрал десятка два книг из тех, что поинтересней, и, связав их стопкой, вышел на дорогу ловить попутную машину. Ему повезло. Не прошло и пяти минут, как на дороге появился Гошкин «ЗИЛ-150». Илья забросил книги в кузов, где лежал большой фанерный ящик с продуктами, и они поехали.

Было жарко. Хвостатое облако пыли тянулось за идущей впереди «Волгой».

— Хорошие книжки везешь? — спросил Гошка.

— А как же! Самые зачитанные выбрал.

— А когда же ты свою книжку дашь почитать? — пошутил Гошка.

— Свою? Да вот жду, чего из Москвы ответят. У меня, Гошка, грамотности не хватает. А стихотворения я писать могу. Талант у меня к этому делу есть, это я знаю. Вот насчет прозы не скажу. Тут я не силен. Захотел я описать нашего председателя, какой он есть. Ну и пишу: «Высокий, стройный, с умным взором в глазах». А он, может, и высокий, да толстый, как беременная баба. Какая уж тут стройность! Не получается, да и все, — Илья вздохнул. — А насчет стихов — это мне раз плюнуть. Другой раз, поверишь ли, идешь — и вдруг в голову чего стукнет. Приду домой, запишу. Через пятнадцать минут стих готов. А вот грамотность — да-а... Тут мне еще надо над собой работать. Говорил я Вадиму: «Исправь ошибки, а потом деньги и все такое на двоих». — «Некогда», — говорит.

Не хочет заработать, что ли? А знаешь, я сегодня стих накатал. Послушай: «Воспоминание о любви».

Стихи были длинные. Когда Илья поинтересовался Гошкиным мнением, Гошка ответил:

— Не знаю. По-моему, непонятно.

— Так это ж стихи, — снисходительно объяснил Илья.

На стане народу было полно, и все занимались разными делами: одни натягивали на колья палатку, другие копали в земле печку, третьи перетаскивали вещи. Гурий Макарович Гальченко, которого назначили на стан бригадиром, шел с Пятницей по краю поля и недовольно размахивал руками.

— Як тут косылы — нэ поймэшъ. Тут навесной жаткой, там прыщепной. Тут ни одного валка, тут три валка сразу. Абы скосыть.

Потом Павло-баптист привез шефов — рабочих с консервного завода. Шефы сбрасывали на землю вещмешки, чемоданы, матрацы и тащили все это в палатку. Вместе с ними приехал на стан Вадим, который первую машину проспал. Вскочив на ящик с продуктами, Вадим торжественно произнес:

— Приветствую тебя, пустынный уголок!..

— Эй ты, уголок! — крикнул Микола. — Ящик проломишь!

Гурий Макарович собрал шефов в кружок за палаткой и проводил переключку:

— Знаменский!

— Знаменский, — поправили его.

— Це по-вашему, по-городскому, а по-нашему Знаменский, — сказал Гурий Макарович, но в следующей фамилии сделал поправку на городское произношение. — Волинский!

— Волинский, — поправили его.

— А, вас нэ поймэшъ! — Гурий Макарович махнул рукой. — Буду читать по-своему.

После переключки следовал инструктаж. Инструктаж был кратким и выразительным:

— Ну шо вас тут инструктировать? Це трактор, це комбайн, це копнитель. Прошлый год у нас тут тоже булы городские, так некоторые путалы. Ну, трактор и комбайн вам знать нэ надо, вы будэтэ работать на копнителе. Пра-

вильно вин называется чи соломополовокопнитель, чи половосоломокопнитель, вам це тоже знать нэ нужно. Шо вам трэба для работы? Дви руки, шоб дэржать выла, дви ноги, шоб нажимать на педали. Шо це? Курыть на копнителе нэ положено, но хто курэ, всэ одно нэ вдэржтися. Значить, шо? Курыть осторожно. Прыгать на ходу з копнителя нэ положено, но прыгать прийдэться. Значить, прыгать так, шоб нэ попасты пид колэсо. Всэ ясно? Вопросов нэма? Пиплы розпысуваться за технику безопасности.

На поле выехали после обеда. Гурий Макарович поставил все семь комбайнов так, чтобы они были на одинаковом расстоянии.

Аркаша Марочкин хотел трогаться первым, но Гальченко его остановил:

— Нэ лизь попэрэд батька в пэкло.

Он еще раз прошел по краю поля, потом поднялся на свой комбайн и поднял руку:

— Поихалы!

И сразу загудели моторы, заработали приводы комбайнов, тронулись с места тракторы. Первые метры валков потекли в молотилки.

Илья Бородавка, вернувшись со стана, вспомнил, что видел он за этот день, и написал в своем дневнике:

«Сегодня началась борьба за казахстанский миллиард! Наш бригадир Гурий Макарович Гальченко встал на своем любимом комбайне и своим свежим голосом сказал: «Поехали!» И сердца у всех задрожали в сладостном волнении, будто лопнула в них какая струна. И все закричали «ура».

Илья подумал и дописал:

«А на копнителях с вилами в руках стояли дорогие наши шефы. Они пели веселые песни».

Дальше ничего не получалось.

«Эх, был бы я писатель»,— грустно подумал Илья и отложил дневник в сторону.

В тот день, когда на стане был Илья Бородавка, произошла некоторая заминка с распределением кадров. Закрепив комбайны за комбайнерами, тракторы за трактори-

стами и копнители за приезжими шефами, Гурий Макарович совсем выпустил из виду Вадима. Вадим подошел к нему:

— А мне что делать?

— Тоби? — Бригадир был явно озадачен. — А шо ты можешь робыть?

— Вин на рояли грае, — подсказал Микола.

— Гм... на рояли... От беда! А в мэнэ сим комбайнив и ни одного рояля. Ну, а шо ще ты можешь робыть?

Вадим пожал плечами.

— Вин вирши пыше, — подсказал Микола.

— Значить, вирши... Так издательства в мэнэ тоже нэмае. Щось в тэбэ таки спэциальности нэподходящи. А шо, як я тэбэ поваром назначу? Работа дуже проста и интеллигэнтна. Бэрэшь ведро воды, ведро крупы и жменю соли. Казан е, кизяк е, солярка е. Работай.

Но очень скоро Гурию Макаровичу пришлось раскаяться в своей неосмотрительности. Вечером, когда комбайны пришли с поля и все, расхватав алюминиевые миски, кинулись к кухне, оказалось, что никакого ужина нет. Гречневая каша наполовину не доварилась, а наполовину пригорела.

— Шо ж ты так, а? — сетовал Гурий Макарович на незадачливого повара. — Можно ж було воды добавыть.

— Вы сказали — ведро, я ведро и налил. — Вадим был расстроен.

Гальченко посмотрел на него и пожалел:

— Ну ладно. А як насчет чаю?

— Чай есть.

— Тягны сюды сахар, масло... Шо ще у нас есть?.. Колбасу. Хлопцы, сьгодні будэм вэчерять сухым пайком.

— Шо? — возмущился Микола. — Цылый дэнь робылы...

— Мыкола! — Бригадир повысил голос.

После этого случая Гальченко составил график, по которому пищу варили все в порядке очередности.

Вадим стал постоянным рабочим по кухне. В его обязанности входило залить котел водой, растопить кизяк, принести, если нужно, продукты.

Однажды очередной повар Степан Дорофеев стоял на кухне и огромной суковатой палкой помешивал в котле.

Вадим, кусая карандаш и испытывая от жары, лежал в палатке и сочинял очередное стихотворение. Потом встал и подошел к Степану.

— Хочешь, стихи новые прочту?

— Стихи? А чего ж, валяй,— поощрил Степан. Он оперся на палку и приготовился слушать.

Еще туманы бродят по земле,
Еще не встало солнце за спиною,
Но на комбайне, как на корабле,
Я отправляюсь в плаванье степное.

Пусть от жары в глазах круги рябые,
Дымит земля поземкой ковья...
Земля, ты — покоренная рабыня,
Я — бог и повелитель твой, земля.

— Ну как?

— Ничего вообще-то.— Степан почесал в затылке.— Занятно. Слышь, а как это все у тебя получается?

— Что — как?

— Ну вот так, чтоб складно было?

— Не знаю,— Вадим замялся.— Это трудно объяснить.

— Да-а... А зачем это ты все сочиняешь? Трудно небось голову ломать?

— Нелегко. Но, понимаешь, стихи помогают людям жить, работать...

— А-а, работать,— сообразил Степан.— Это я, значит, кашу варю, а ты мне помогаешь?

И Вадим не понял — то ли Степан шутит, то ли всерьез говорит.

23

Вторую неделю идет дождь. Постоянно, беспрерывно он стучит по брезенту палатки и с шорохом скатывается на раскисшую землю. Дует ветер. В палатке холодно и сыро. Пахнет мокрыми телогрейками и тулупами. Каждый выбирает себе занятие по вкусу. Четверо режутся в домино. Степан Дорофеев и Микола играют в шахматы. У Миколы — ангина. Поэтому он перевязал горло серым полотенцем и хрипит на всех, кто задерживается у входа.

Гошка лежит на постели в бушлате и читает книжку.

— Гошка, как ты думаешь, в этом, наверное, есть своеобразная романтика?

Это спрашивает Вадим. Он лежит рядом, натянув одеяло до самого подбородка.

— Что? Романтика? — Гошка долго не может сообразить, в чем дело. — Не знаю, Вадим.

— Ну, а зачем же мы тогда сидим?

— Ну как? Ну... нужно так, вот и сидим. Урожай кому-нибудь нужно убирать.

— А-а, урожай.

В первый день дождя, когда сверкали молнии и грохотал гром, все стояли скучившись в палатке, а Вадим шатался по полю и пел: «Будет буря, мы поспорим...» Теперь он тоже иногда ходит спорить с бурей, но редко.

— Хорошо бы сейчас домой. Присесть в теплом углу, посмотреть телевизор... Вот почему здесь нет телевидения?

— Будет, — отвечает Гошка. — В том году обещают построить станцию.

— Будет, будет... А знаешь, хорошо бы пойти сейчас в ресторан. В Москве я после стипендии всегда ходил в «Арагви». Там бывают поэты, художники... Да что «Арагви»... мне бы сейчас стакан газированной воды без сиропа. Ты не хотел бы газированной воды?

— Не знаю, — Гошка пожимает плечами. О газированной воде он просто не думал.

Вадим поднимается и выходит из палатки.

В стороне от палатки выстроились в ряд тракторы и комбайны. Возле крайнего трактора возится Аркаша Марочкин. У него заедает сцепление. Пользуясь непогодой, Аркаша решил устранить неисправность.

Каждому поэту хочется, чтоб его слушали. Вадим подошел к Марочкину:

— Аркадий.

— Чего тебе?

— Как сцепление? Получается что-нибудь?

— А чего ж не получится, — Аркаша сплевывает сквозь зубы. — Я ж механик-водитель. Танки, бывало, по кусочкам разбираю. А трактор...

— Аркадий, а у меня и про тракторы стихи есть. Хочешь, прочту?

Вадим боится, что его не дослушают, и торопится:

Облака лиловые висели,
Полыхали синие ветра...
Вдавливая гусеницы в землю,
Медленно катились трактора.

— Да-а... — Аркаша задумался. — «Вдавливая в землю...» Слышь, Вадим, сбегай к Степапу, возьми у него ключ на двадцать два. Скажи, Аркадий просил.

Вот так все. Никто не понимает, никто слушать не хочет. Хоть бы Бородавка приехал, что ли. Вадим приподнимает полог палатки, просовывает внутрь голову:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Залази, а то дует, — хрипит из своего угла Микола.

24

В один из дождливых дней Степан Дорофеев, который выходил на улицу по своим делам, вдруг приоткрыл полог палатки и сказал:

— Там кто-то скачет.

— Шо ты мэлэш? — сказал Гурий Макарович.

— Ну посмотрите.

Кто мог тащиться по степи в такую пору, да еще верхом на лошади? Любопытство было настолько большим, что даже Микола выскочил из палатки, обмотав вокруг шеи серое полотенце. Он взгляделся пристально в скакавшего от разъезда всадника и удивился:

— Так то ж баба!

— Шо?

— Та ни шо. Баба, кажу.

Это была Лизка. Возле самой палатки она, откинувшись в седле, натянула повод. Лошадь косилась на людей, раздувала ноздри и перебирала тонкими, в забрызганных чужих ногами.

— Аркаша! — Лизка спрыгнула с седла чуть ли не в руки любимого.

— Ну чего ты? — сказал Аркаша, отступая. — Чего приехала?

— Соскучилась, — сказала Лизка, не обращая внима-

ния на посторонних. С рукавов, с капюшона ее брезентового плаща стекала вода.— Ну чего встал-то? Аль не рад? Веди в свою хату,— она презрительно скользнула взглядом по палатке.

В палатке вытряхнула из складок капюшона остатки дождя, достала из-под полы привязанный к поясу большой узел.

— Вот,— сказала Лизка, развязывая узел прямо у входа,— пирогов тебе напекла. Носки вот привезла теплые. Сама вязала,— подчеркнула она.

Они сели на Аркашину постель. Лизка сняла резиновые сапоги и поджала под себя ноги. Смущаясь взглядов товарищей, Аркаша нехотя жевал испеченный Лизкой пирог.

— Холодно тут у вас,— сказала Лизка.

— Холодно,— подтвердил Степан.— Привезла бы ты лучше милому одеяльце ватное или тулупчик. Знаешь, как говорится: сейчас бы ружьишко, тулупчик и... на печку.

Все засмеялись. Аркаша отложил полпирога в сторону, поднялся.

— Ну, может, ты поедешь? — сказал он почти ласково.— Погостила — и будет.

— Ну и хозяйин,— покачала головой Лизка.— Сейчас гулять пойдем.— И потянула к себе сапог.

— Гулять? Дождь на дворе.

— А мне двадцать пять километров ехать — не дождь? Пойдем, не сахарный.

— Ну пойдем,— покорно согласился Аркаша.

— Иди, иди. Она тебя захомутаёт,— сказал ему вслед Степан, но тут же поперхнулся под колючим Лизкиным взглядом.— Ну и баба! — сказал он, когда она вышла.

Уезжала Лизка перед вечером, когда надвигались тяжелые, дождливые сумерки. Она отвязала лошадь от палатки и неловко, по-бабьи, влезла в седло.

Гошка подошел к Лизке и спросил, не передавала ли ему чего-нибудь Санька.

— Нет, не передавала. Но-о! — Она замахнулась на жеребца кулаком, и тот вихрем понес ее по дороге.

На другой день в Поповке пронесся слух, что Аркаша Марочкин дал твердое согласие расписаться с Лизкой, как только закончится уборка. Узнала об этом и Тихоновна. И самое обидное было в том, что узнала она об этом через сторонних людей. К тому, что теперь дети не спрашивают родительского благословения и даже не советуются с родителями, она уже привыкла. Но хоть бы сказал! А то приходит выжившая из ума старуха Макогониха и говорит — так, мол, и так. Тихоновна целый день ходила по комнате как неприкаянная, а вечером, когда вышла встречать корову, увидела на улице Лизку.

— Зайди в хату,— приказала она Лизке.— Подожди меня. Я сейчас, только корову в лабаз загоню.

Лизка послушно зашла в дом и сидела там в полутьме, пока не вошла Тихоновна.

— Чего ж свет не включаешь? — сказала она.— Привыкай, хозяйкой будешь.

Щелкнул выключатель, и Лизка зажмурилась от яркого света. Тихоновна села на стул и долго смотрела в упор на Лизку, которая, потупив глаза, нервно перебирала подол шелкового платья. Потом встала, вынула из печи закопченный казанок, налила в тарелку борща, поставила перед Лизкой:

— Ешь.

Сложив на груди руки, опять смотрела на будущую свою невестку. Лизка очень хотела есть, но, боясь показаться обжорой, ела медленно.

— Ты что ж лоб не крестишь? — сурово спросила Тихоновна.

Лизка бросила ложку и в замешательстве поднесла ко лбу сперва правую, потом левую, потом опять правую руку.

— Ладно, это я так,— сказала Тихоновна.

Лизка, оставив для приличия полтарелки борща, отложила в сторону ложку.

— Еще насыпать? — спросила Тихоновна.

— Нет, благодарю.

— Кашу есть будешь?

Лизка промолчала. Тихоновна наполнила тарелку греч-

невой кашей, бросила сверху кусок масла. Масло таяло и растекалось по миске желтым пятном. Каша пахла так аппетитно, что Лизка, забыв уже о всяких приличиях, уплетала ее за обе щеки, громко чавкала и каждый раз вылизывала ложку.

«Эко жрет», — подумала Тихоновна и еле слышно спросила:

— Значит, вы уже про все договорились?

— А? — очнулась Лизка.

— Договорились, говорю, про все? — повысила голос Тихоновна.

— Ага, — испуганно сказала Лизка.

Тихоновна смотрела на Лизку и долго вздыхала, собираясь с мыслями.

— Ну вот что, Лизавета... — начала она. Она хотела сказать Лизке, что раз уж та окрутила ее единственного сына, раз она отняла его у матери, так чтоб берегла его, чтоб смотрела за ним. И много еще кой-чего хотела она сказать Лизке, но ничего не сказала и вдруг расплакалась. Плакала громко, хлюпая носом.

Лизка, перепуганная и растерянная, отодвинула миску и вышла из-за стола. Она не знала, что делать. То ли успокаивать, то ли уходить.

— Спасибочка вам на угощении, — чуть ли не шепотом сказала она.

Тихоновна подняла к ней заплаканное лицо, что-то хотела ответить, но разрыдалась еще пуще и только махнула рукой.

Лизка пулей выскочила на улицу.

В дни дождей Гурий Макарович развлекал подчиненных по-своему: проводил по разным поводам собрания или читки газет, когда приходила почта. Почту привозили вместе с продуктами. Письма получали только шефы-горожане и Вадим. Колхозникам обычно получать было не от кого, да и сами они никому не писали.

Но вот однажды пришло письмо Гурию Макаровичу. Гальченко долго и удивленно рассматривал синий конверт с довольно странным адресом, где после названия области,

района и колхоза было написано: «Полевой стан. Бригадиру копнителеей». Обратного адреса не было, но на штемпеле значилось: «Москва».

Сначала Гальченко подумал, что, может быть, это письмо вовсе и не ему, но, придя к выводу, что больше на стане никаких бригадиров нет, решительно распечатал конверт.

— Гурий Макарович, шо там такое? — Микола подошел сзади и заглянул через плечо.

— Нэ лизь.

Он долго читал это письмо, и чем долльше читал, тем больше хмурился и, сдвинув шапку на лоб, скреб затылок черными пальцами. Потом встал и вышел из палатки. Видно, письмо это его сильно озадачило. Степан, сидевший у выхода, видел, как бригадир широкими шагами ходил взад-вперед возле палатки и бормотал что-то себе под нос, чего раньше за ним не наблюдалось.

Через несколько минут он вернулся и приказал коротко:

— Все в кучу!

— Чего, опять собрание? — спросил Брынза.

— Митинг.— Гурий Макарович подождал, пока все устроились, кто на чемоданах, кто на концах матраца, кто просто на корточках.— Вот тут я получил письмо. Из Москвы.— Гурий Макарович выдержал многозначительную паузу и обвел всех задумчивым взглядом.— Но тут поше такэ напысано, чога я нияк нэ понимаю. Якась така ерунда... Може, вмисти розбэрэмось. Кто у нас самый грамотный? Гошка, в тэбэ среднее образование — читай.

— «Уважаемый товарищ бригадир!

Я, пожалуй, не стала бы Вам писать, если бы не самое серьезное беспокойство за судьбу моего единственного сына.

Вчера я получила от него письмо, из которого узнала, что он два дня болел и с высокой температурой лежал на сырой соломе в дырявой палатке.

Меня уже не удивляет то, что разносторонне одаренный мальчик занимается работой, мягко выражаясь, не совсем интеллектуальной. Меня удивляет невнимательное и, если говорить прямо, бездушное отношение к моему сыну со стороны товарищей и с Вашей стороны, в частности. Неужели пельзя было вызвать врача и обеспечить

больному нормальный уход? Уж Вам-то следовало об этом побеспокоиться не только из простого человеколюбия (об этом я даже не говорю), но и потому, что Вас к этому обязывает положение руководителя и, как я понимаю, воспитателя своих подчиненных.

Безотносительно к своему сыну хочу Вам сказать, что, на мой взгляд, человек, который пренебрег личным благополучием и всеми удобствами, с которыми было связано его пребывание в Москве, достоин всяческого уважения и внимания. Но не много можно сказать хорошего о людях, которые оставляют своего товарища в беде.

Если Вы пожилой человек и если у Вас есть дети...»

— Ну ладно,— прервал чтение Гурий Макарович.— Тут дальше про мэнэ. Неинтересно.— Заложив руки за спину, он заходил по палатке.— Вот я тут шось ничего нэ понимаю. Якась болезнь...

Впрочем, остальные этого тоже не понимали.

— Про кого це? — удивленно спросил Микола.

— Про кого? — Гурий Макарович сощурился.— А про тэбэ.

— Про мэнэ? Та вы чи здурилы, чи шо? — Микола даже засопел от негодования.

— Ну, а про кого ж? Бач, тут написано насчет температуры. В кого была температура? В тэбэ. Значить, про тэбэ и напысано.

Микола засмеялся, и всем стало весело. Все тоже засмеялись.

— Шо смеешься? Тут ничего смешного нэма.

Микола хотел обидеться еще пуще прежнего, но Гурий Макарович незаметно подмигнул ему:

— Эх, Мыкола: на шо ж так матир волноваты? Ну хай в тэбэ температура, погани товарищи,— промовчи. Нэ всэ ж трэба матери пысать! А що до нашей роботы, то як тут про нэи напысано? — Гурий Макарович заглянул в письмо.— Не-ин-тел-лектуальная! Це так. Работа у нас неинте... ну, в общем, нэ така, шо и казать. Но шо робыть? Всэ одно комусь надо и сиять хлиб и убирать. Вот, може, колы диты наши та внуки повыврастають, вывчатся, словами заграничными, як ты, Мыкола, будуть балакать, тоди... тоди, може, и жизнь друга будэ. Може, и так будэ, шо пажмэшь кнопку — посяялось, нажмэшь другу — убралось, а

третю нажмэшъ — так булка в роти... з кремом там, чи з повыдлой... Но зараз такого нэма. Нэма. Вот и прыходыться нам в зэмли отой колупаться. И работа у нас неинте, и сами мы неинте. В общем, гусь свыни нэ товариш.

27

Вадим сам не знал, почему он написал матери о болезни, которой не было. Просто хотелось, чтобы его пожалели, а на что жаловаться — сам толком не знал. Вот и написал первое, что пришло в голову. И как глупо все получилось!

После этого Вадим как-то отдалился от всех. Он не ршался заговаривать с другими, и с ним тоже никто не заговаривал. Но однажды во время обычного вынужденного безделья Гурий Макарович его подозвал:

— Вадим, ты б рассказал шо-нэбудь.

— А что рассказывать?

— Ну як — шо рассказывать? Расскажи, як там жизнь в Москви. Шо там вообще хорошего.

— В Москве все хорошее.

— Чого ж там хорошего? Так же люди живут, як и тут.

— Ну, не так,— сказал Вадим.— Там совсем другие условия. Библиотеки, театры...

— А правда, что в Москве сигналов нету? — спросил Павло-баптист.

— Давно уж.

— Ну а ежели я, к примеру, еду, а на улице свинья лежит?

— Пидожды ты со своей свыней,— сказал Гурий Макарович, поморщившись.— Ты, Вадим, мне от шо скажи: в Москви лучше жить, чим тут, так? В тэбэ там своя квартира чи як?

— Своя.

— Ну а в мэнэ своя хата. Яка ж разныця?

— Ну как? У меня в квартире паровое отопление, ванная...

— Хорошо.

— Уборная...

— Хорошо.

— Телефон.

— А нашо тобі телефон? Кому звонить?

— Ну, например, с товарищем мне надо поговорить.

— Так, хорошо. Ну а ще шо?

— Все,— сказал Вадим.— Хочу я в кино сходить — иду туда, куда мне хочется. Пешком не хожу. Сел в метро или в троллейбус и доехал куда надо. Такси, выставки, музеи — все есть в Москве.

— В общем, в Москве хорошо, а в Поповки погано, так? — спросил Гурий Макарович.

— Ну, я так не говорю... — замылся Вадим.

— Ну а шо, тут ничего такого нэма. Шо погано в Поповки, то погано, я и сам це могу сказать. От дывысь. Утром я встаю, трэба дров наколоть, пичку розтопыть, тут тобі дым, копоть, вся посуда в сажи. Нэ то шо газ. Ты його включив, и вин нэ дымить, нэ коптыть. У нас такого нэма. Шуряк в мэнэ в Кайнарах живэ, було б метро, на метри б доихав, а то пишки хожу. Погано. Трэба Мыколу обматэрить, взяв бы трубочку: «Алло, Мыкола!» А то пока через усю Поповку пройдэшь, так и зло пропадае. Да. Ну и музейев у нас, конечно, нэма. Погано у нас в Поповки, так?

— Ну так,— неуверенно подтвердил Вадим.

— А вот сказаны б мэни зараз: «На тобі, Гальченко, в Москве квартиру из чотырех комнат, на тобі ванную, на тобі телефон», — ни за шо б нэ поихав. Ты Москву за шо любишь? За ванну та телефон. А шоб в Москве ничего этого нэ було, а було в Поповки?.. А я вот нэ знаю, за шо я Поповку люблю. Всэ наче тут погано, а никуда нэ поиду. Як бы тут Москву построили, то дило другое.

Гальченко помолчал. Вынул из-за уха оставленную «на после обеда» папиросу, помял ее в замасленных пальцах.

— А вообще, Вадим, я тобі вот шо скажу. Наша работа нэ для тэбэ, хочь обижайся, хочь нет. Нэпривыкший ты до нэи. Мы-то тут с самого детства. Для нас хоч бы шо. А для тэбэ... В общем, тут председатель казав, Бородавку в контору беруть. Клуб без хозяина остается. Може, пойдешь?

— Мне все равно,— сказал Вадим.— Я согласен.

На четвертый день после возвращения в Поповку Вадим вывесил в коридоре клуба новую стенгазету.

Вечером возле газеты собрались любопытные. Все читали внимательно и смеялись над карикатурами, особенно над той, где верхом на лошади, в буденновском шлеме и с шашкой на боку был нарисован Петр Ермолаевич Пятница. Под карикатурой были такие стихи:

Чтоб вперед работа шла,
Чтоб назад не пятиться,
Переносит он дела
Со среды на пятницу.

Пятница, узнав об этом, приходил в клуб, смотрел и, хотя ничего не сказал, ушел расстроенный.

Когда люди не очень заняты, они не прочь и развлечься чем-нибудь.

Читателей становилось все больше. Читатели обратили внимание и на другие стихи, подписи под которыми не было. Но все понимали, что это не Фан Тюльпан.

Аркаша Марочкин, приехавший со стана за продуктами, долго стоял возле газеты и беззвучно шевелил губами. Прочтя стихотворение, он повернулся к Лизке и заметил:

— Протаскивает.

Лизка понимающе сверкнула «фиксой».

Илья Бородавка сидел в бухгалтерии за своим старым, в чернильных пятнах столом и барабанил по нему пальцами, как будто играл на рояле. Илья был очень огорчен тем, что его отстранили от клубной работы, и даже тем, что Вадим не поместил в газете ни одного из представленных им стихотворений. Илья дал себе слово не ходить в клуб и все-таки не выдерживал, несколько раз на дню появлялся в коридоре клуба. Стоя у входа, он ревниво следил за тем, как относятся читатели к творчеству нового заведующего. При этом он чувствовал себя до крайности неловко: в каждом взгляде (во всяком случае, так казалось Илье) сквозили жалость и насмешка. В каждом взгляде он читал: «Что же ты, Илья? Эх, ты...»

Но, несмотря на все это, Илья, который был человеком

справедливым, понимал, что должность заведующего клубом Вадиму подходит больше.

Вадим посрывал со стен клуба половину плакатов, и от этого ничего страшного не произошло, в клубе стало даже светлее.

Кроме того, Вадим возобновил занятия художественной самодеятельности. По вторникам и четвергам шли репетиции драматического и хореографического кружков. Но особое внимание Вадим уделял вокальным номерам. Ежедневно он репетировал с хором современные песни, а потом отдельно занимался с Санькой. Они оставались в клубе до позднего вечера, и до позднего вечера слышны были звуки рояля и приглушенный двойными стеклами Санькин голос. И по поводу этого ходили по деревне разные слухи. Однако толком никто ничего не знал.

29

— Саня! — осторожно позвали за окном.

Санька отвела занавеску и разглядела желтое от электрического света лицо Вадима.

— Тебе что? — удивилась она, выйдя к нему. Было около одиннадцати, и Санька уже постелила.

Вадим улыбался умудренно и горько, как человек, у которого есть что сказать.

— Пойдем в степь, — сказал он.

«Пойдем в степь!» Так никто не говорит. Степь была всюду, и по этой причине в нее никто никогда не ходил.

Но Саньке это понравилось, и она сказала:

— Пошли.

Вадим хотел идти мимо правления, но Санька побоялась, что кто-нибудь увидит их вдвоем и мало ли чего подумает.

— Пойдем здесь, — сказала она. — Мне здесь больше нравится.

И они пошли по узкой тропинке к реке.

Перешли по гулкому настилу моста. Было тихо. Мерцали звезды. Если наклониться к земле, можно было рассмотреть вдали чуть просветленную линию горизонта.

— Пути господни неисповедимы,— с чувством сказал Вадим. Он шел и давился дымом папиросы, считая своим долгом защищать Саньку от комаров. Впрочем, комаров в этот вечер не было.

— Это заглавие? — несмело спросила Санька, ожидая услышать стихи.

Вадим задохнулся, закашлялся и замотал головой:

— Я говорю образно, ты извини. Понимаешь, Саня, мы часто не знаем точки своего назначения. Не щадим себя, жжем топливо, летим на красный свет. А потом, оказывается, нам надо в обратную сторону.

Санька вежливо промолчала. Это было не про нее и не про тех, кого она знала.

— Я уезжаю,— сказал Вадим и остановился, посмотрел на Саньку.

— Уезжаешь? А как же репетиция? — спросила Санька, подумав, что Вадим уезжает на стан.

— Репетиция провалилась, Саня. Представление кончилось,— я уезжаю домой. Домой, в дом, в те самые четыре стены, которые могут стоять где угодно. Но мои четыре стены стоят в Москве. Я уезжаю в Москву. Ну, что ты молчишь? Дезертирство, да? Малодушье, да? Да, я тряпка. Слюнтяй! Не выдержал. Осточертело!

— Не кричи на меня,— обиделась Санька.

— Извини! — Вадим понизил голос:— Понимаешь, Саня, Поповка не по мне. И самое главное не то, что она мне не нужна, а то, что я ей не нужен. И стихи мои никому не нужны. Анатолий все время язвит. Аркадий Марочкин думает, что я кого-то протаскиваю. Один поклонник у меня остался — Илья Бородавка. Этот готов молиться на меня. Да что я оправдываюсь. Разве ты не хотела бы в Москву? Не хотела бы, скажи?

— Не знаю,— тихо сказала Санька.

— Не знаешь? А я знаю. Тебе смешно, когда я говорю: «Точка моего назначения». Я так привык говорить. Так вот, точки нашего назначения совпадают. Ты тоже не нужна Поповке. Ты хорошо поешь, у тебя природные способности, а ты сидишь на своей паршивой стройке и камушки перебираешь. Ты же здесь пропадешь. Разве тебе не страшно?

Было тихо и звездно. Санька наклонилась к земле и увидела вдали чуть просветленную линию горизонта.

— Нет, мне не страшно,— сказала опа.— Как все, так и я.

— Да, но это все обыкновенные люди.

— А кто необыкновенный? По-моему, необыкновенных людей нет.

— Все зависит от точки зрения,— сказал Вадим.— Но ты подумай. Вот ты работаешь на стройке. Ты делаешь простую, но тяжелую работу, которую другой на твоём месте мог бы делать лучше. Эту работу может делать любой. А вот нет, как ты, может не каждый. Человека по-настоящему ценят тогда, когда он что-нибудь умеет делать лучше других. Даже если он занимается прыжками в высоту, от которых никому никакой пользы нет. И каждый должен поднимать планку до тех пор, пока окончательно не убедится, что ни на полсантиметра выше он уже не прыгнет.

— Ты опять говоришь образно? — вежливо спросила Санька.

— Да, я опять говорю образно. Я, наверно, всегда буду говорить образно и потому смешно. Даже в этом я допыхот. Я... Ты куда, Саня?

— Домой. Спать пора,— сказала Санька.

30

Так получилось, что с наступлением хорошей погоды Гошку отозвали со стана возить картофель из Поповки в Актабар. Первые две машины он отвез по накладным на какую-то овощную базу, а третью машину нагрузили картошкой для детского сада.

Тюлькин, закрывая основной склад, где хранились сало, масло, сахар и другие ценные продукты, сказал стоявшему рядом дяде Леше:

— Вот я тебя уже знаю досконально. Ведь небось опять ночью дрыхнуть будешь?

— А как же? — удивился дядя Леша.— Ночь для того человеку и дадена, чтобы спать. Кто ж ночью не спит? Филлин разве.

— Фи-илин...— Тюлькин протянул через отверстие в специальной фанерке два шнурка, залепил их пластили-

ном и разровнял пластилин большим пальцем.— Филин,— повторил он, вдавливая в пластилин бронзовую печать.— Пломбу кто-нибудь сорвет, будет тебе филин. Склад не приму.

— Не сорвут. У меня вот соль.— Дядя Леша похлопал по висевшему за спиной ружью.

Тюлькин махнул на него рукой и пошел к машине.

— Я тоже поеду,— сказал он Гошке.

Завскладом всю дорогу острил, рассказывал «медицинские» анекдоты и вообще вел себя так, как будто между ним и Гошкой никогда ничего не происходило и они всегда были лучшими друзьями. Когда доехали до города, Тюлькин стал показывать, куда надо ехать.

— Вот сюда свернешь. Так. Теперь налево. Прямо. Вон видишь ворота? Это и есть детский сад.

Тюлькин вылез из машины и, разминая ноги, не спеша пошел в маленькую калиточку. Вскоре он вернулся с молодой полной женщиной.

— А мы думали, вы уж не приедете,— сказала женщина, отпирая ворота.

— Как — не приедем? Раз Тюлькин сказал — значит, точка.

Женщина отперла ворота. Тюлькин стал на подножку. Остановились у правой стороны дома. У крыльца высокий мужчина в голубой майке, охая и крикая, колот огромные поленья. Увидев машину, всадил в полено топор и не торопясь пошел навстречу.

— Чего ж поздно-то? — хмуро спросил он.

— Где ж поздно, Петя? У нас рабочий день еще не кончился.

Картошку носили по узкой крутой лесенке в сырой, пропахший плесенью подвал. Тюлькин покрутил носом.

— Смотри, сопреет она здесь.

— Не твоя печаль,— сказал Петя.

Потом он пригласил гостей в дом. Заведующая детсадом и ее муж занимали в доме две комнаты. В первой комнате было тесно от мебели. Слева стоял большой книжный шкаф.

— Все покупаешь книжечки,— усмехнулся Тюлькин.

— Читаем,— сказал хозяин и вышел из комнаты.

Вошла хозяйка и поставила на стол горячую сковоро-

ду с яичницей и картошкой. Следом за ней Петя внес две запотевшие бутылки и тарелку с огурцами. Хозяйка вынула из шкафчика три граненых стакана.

— Я пить не буду,— сказал Гошка.

— Чего это? — удивился хозяин.— Больной, что ли?

— Человек за рулем,— пояснил Тюлькин.

— Твое дело.

— В Бельгии придумали такие машины,— сказал Тюлькин,— что, если от шофера водкой пахнет, она не едет.

— А если кто рядом с шофером сидит выпивший? — спросила хозяйка.

— Будем живы-здоровы,— перебил Петя глупые речи жены и поднял стакан.

— Дай бог, не последнюю,— поддержал Тюлькин.

— Поехали,— заключил хозяин.

Тюлькин долго морщился и с ожесточением нюхал черную корку.

Гошка вышел на улицу. Он завел машину и, выехав за ворота, стал ждать. Уже стемнело. Небо было звездное, без луны. Посреди двора висела на столбе под эмалированной шапкой неяркая лампочка. Она освещала двор, угол сарая и крыльцо заведующей детсадом. В доме слышался шум. Тюлькин пытался спеть «Вот кто-то с горочки спустился», но громкий голос хозяина каждый раз перебивал его. «Так они до утра пропойт»,— подумал Гошка. Он надавил ладонью кнопку сигнала. Сигнал был слабый, хриплый, и в доме его, вероятно, не слышали. Гошка хотел было идти за Тюлькиным, но в это время дверь распахнулась, и Тюлькин вместе с хозяином вышли на крыльцо.

Тюлькина шатало из стороны в сторону. Хозяин тоже изрядно выпил, однако равновесие сохранял. Он даже поддерживал гостя, помогая ему сойти с крыльца. Тюлькин поочередно спускал со ступенек то левую, то правую ногу и молот несурзное.

— Кто Тюлькин? — вопрошал он.— Ты Тюлькин?

— Ты Тюлькин,— успокаивал гостя хозяин.

— Ну а раз я Тюлькин, то скажи, друг я тебе или нет? Скажи, Петя, друг тебе Тюлькин или портянка?

— Друг, друг,— уверял Петя, но целовать себя не давал.

Они подошли к машине, Тюлькин сел на подножку и хотел петь песни.

— Тише, Коля,— сказал хозяин,— там на углу милиция.

— Милиция! — обрадовался Тюлькин. — А что мне милиция? Я сам себе милиция.

— Оно, конечно, так,— согласился хозяин. — Но чтоб не было неприятностей.

Он наклонился к Тюлькину и что-то сказал ему на ухо, от чего тот как будто на миг протрезвел и полез в кабину.

— Гошка, ты здесь?

— Здесь, здесь он,— сказал хозяин. — Ты смотри, Георгий, не вырони его по дороге.

— Никуда не денется,— сказал Гошка, выжимая сцепление.

Фары с трудом разрывали густой сыроватый воздух, и дорога черной лентой ложилась под колеса. По обе стороны ее стояла непроглядная темнота, только изредка на фоне темного неба вырастали призрачные конические очертания сопок. Далеко в степи помигивали огоньки. Это работали комбайны.

Через несколько километров Гошка свернул в сторону и погнал машину по сырой траве, по едва заметному автомобильному следу. След шел по небольшому склону, машина все время кренилась влево, и Тюлькин валился на Гошку, мешая править. Гошка время от времени отталкивал Тюлькина плечом, но он был тяжелый, не давался и хватался за рычаг скорости. Но потом дорога сошла со склона, и Тюлькин стал валиться вправо. «Откроет дверцу — вывалится», — подумал Гошка. Он затормозил и, обойдя машину спереди, закрыл дверцу на ключ. Тюлькин проснулся.

— Гошка, ты?

— Я.

— А... а куда... ты меня везешь?

— В Поповку.

— В Поповку? А... поворачивай обратно,— он схватился за руль.

— Пусти!

— Поворачивай. У меня... в городе... баба осталась. Я у ней ночевать хочу. Поворачивай.

— Я тебе сейчас как повернусь,— сказал Гошка.— Сиди смирно.

Тюлькин отодвинулся, посмотрел на Гошку и вдруг захотал:

— Опять по... по морде дашь, опять! Ой, не могу!— стонал Тюлькин.— Как ты меня тогда двинул. Ой, смешно-то! Слушай,— сказал он, перестав смеяться,— а это-то, он хитрый. На сотню меня надул.

— Кто надул? На какую сотню?

— А ничего... ничего...— Тюлькин помолчал.— Слышишь, Гошка, а баба-то твоя, Санька, спуталась с этим... с Вадимом.

— Что-о? — Гошка затормозил.— Ты что, пешком хочешь идти?

Тюлькин испуганно отодвинулся в угол.

— Да я чего... я ничего,— забормотал он как сквозь сон.— Вся деревня знает. Кого хочешь спроси...

— Заткнись!

Высадив Тюлькина возле его калитки, Гошка поехал домой и по дороге вспомнил бессвязные слова Тюлькина о каких-то деньгах. Какие деньги? И вдруг понял: картошка, которую они отвезли в город, не для детского сада. Тюлькин продал эту картошку. Гошка резко развернул машину и остановил ее возле низкого заборчика. За заборчиком светилось окно. За окном сидел Анатолий.

Гошка постучал.

— Гошка?! Ты чего? — Анатолий открыл окно.

— Давай сюда.

— Сейчас обуюсь.

Он вышел в сапогах и в нижнем белье.

Потом они долго разговаривали в кабине. Гошка рассказал ему о Тюлькине и картошке. Анатолий посоветовал Гошке завтра же пойти к председателю.

— А то мало ли чего! Втянет тебя Тюлькин в какую-нибудь историю.— Анатолий открыл дверцу.

— Подожди. Понимаешь... мне Тюлькин про Саньку что-то наговорил. Врет, конечно. Но все-таки...

Анатолий ответил не сразу:

- Знаешь, Гошка... я тебе не хотел говорить... Не врет Тюлькин. Санька уезжает.
— Уезжает? Куда?
— В Москву, за песнями.

31

А дело было так.

О своем разговоре с Вадимом Санька рассказала Лизке. Голова Лизки была занята мыслями о предстоящем замужестве, и Лизка, не разобравшись толком, решила, что Санька уезжает с Вадимом учиться на артистку. Об этой новости Лизка рассказала Полине Тюлькиной, та передала это Пелагее Бородавке, Пелагея — Яковлевне, а той только скажи!

Яковлевна стояла у колодца и, размахивая пустым ведром, говорила:

— Пишла я утречком корову выгонять. Ще остаповылась, думаю: чи Иван до Каражар погопэ стадо, чи до Кайнарив. Дывлюсь: Санька со стэпу йдэ, а за нэю Вадим...

Бабы, окружив Яковлевну, молча вздыхали и осуждающе покачивали закутанными в платки головами: нехорошо.

Через два дня все в Поповке знали, что Санька с Вадимом уезжают в Москву.

Сама Санька узнала об этом позже всех.

Так вот почему Гошка не здороваается с ней! Вот почему, когда она пытается заговорить с ним, он молча проходит мимо!

Что же делать? Посоветоваться с Лизкой? Но что может посоветовать Лизка? «Я ему докажу», — подумала Санька и направилась к дому Яковлевны. Что она ему докажет и как докажет — Санька пока не знала.

32

Гошка стоял на улице возле калитки и курил. Капля упала на кончик сигареты и потушила ее. Пошел дождь.

Гошка вернулся в хату, одетый упал на кровать и, снимая сапог, положил ноги на табуретку. Яковлевна, вытаскивая из печки казанок с борщом, посмотрела на Гошку неодобрительно и что-то проворчала себе под нос.

— Яковлевна,— попросил Гошка,— сбегай к продавщице, принеси пол-литра.

— Пол-литра? — удивилась Яковлевна и поставила казанок обратно в печку. Она долго думала, что бы это значило, потом сказала нерешительно:— Так вона ж тэпэр дома нэ продае. Як ото рэвизия була... Ще прыязжав такой товстючий мужчина...

— Яковлевна, сходи. А я тебе завтра сено перевезу.

— Зараз,— тут же согласилась Яковлевна. Закутавшись в платок, она вышла из хаты.

До дому продавщицы было ходу не больше пяти минут. Пять туда, пять назад, пять на разговоры. Прошло пятнадцать минут — Яковлевны не было.

В дверь постучали. Гошка не пошевелился. Дверь закрипела, и через зеркало он увидел, что в комнату просунулась голова Саньки, покрытая мокрой газетой.

— Можно?

Гошка вытащил из кармана сигарету и спички. Закурил.

— Гошка, мне надо с тобой поговорить.

— Поговорить? — Он стряхнул пепел. — Поговорить можно. Сейчас как раз такое время: дождь, делать нечего.

— Гошка, я знаю, что обо мне рассказывают...

В это время вошла Яковлевна. Покосившись на Саньку, она поставила бутылку на стол и положила сдачу — рубль с мелочью.

— Вот видишь, Яковлевна, я же знал, что у меня будут гости. — Гошка встал, подошел к буфету. — Так что про тебя рассказывают?

Санька посмотрела на Яковлевну и промолчала. Яковлевна дипломатично удалилась, однако не очень далеко, чтобы не пропустить чего-нибудь в этом любопытном разговоре.

Гошка достал два стакана, тарелку с солеными огурцами, кусок хлеба.

— Садись, пить будем.

Санька стояла.

— Ах да, ты не пьешь. Ну тогда я пить буду.

Он поднес стакан ко рту. Запах водки ударил в нос. Гошка поморщился и хотел поставить стакан, но Санька стояла рядом. Гошка задержал дыхание и выпил всю водку залпом.

— Значит, поговорить? Это интересно. Правда, поздно уже. Спать чего-то хочется...— Гошка потянулся.— Может, в другой раз, а? Или лучше так: ты мне напишешь письмо, я тебе отвечу, будем переписываться.

— Значит, ты не хочешь со мной говорить? — Глаза Саньки были полны слез. Она рванулась к дверям, но тут же остановилась.— Я ухожу,— тихо сказала она.

Гошка, не оборачиваясь, ткнул вилкой в огурец.

— Я ухожу,— нерешительно повторила Санька.

— Ах да... тебя проводить? Желаю удачи. Заходи как-нибудь еще.

Выскочив из комнаты, Санька изо всей силы хлопнула дверью. Гошка долго смотрел на дверь, потом подошел к кровати и, уткнувшись в подушку, заплакал тихо и беспомощно, как плачут больные дети.

Яковлевна, изумленная, постояла в дверях, потом на цыпочках подошла к столу и унесла недопитую водку в буфет.

На другой день Санька не вышла на работу. Не дождав-шись ее, Лизка решила зайти к ней домой, узнать, в чем дело. Посреди комнаты на табуретке стоял раскрытый чемодан. Санька укладывала вещи.

— Ты чего это? — спросила Лизка.

— Что?

— Ну вот это,— Лизка показала глазами на чемоданы.— Уезжаешь, что ли?

— Уезжаю,— хмуро сказала Санька.

— Значит, едешь? — Лизка вздохнула.— С Вадимом, значит?

— А хоть бы и так,— не оборачиваясь, сказала Санька.— Тебе-то что?

На общем собрании Тюлькин признался, что продал машину картошки спекулянту из города. Но, сказал Тюлькин, это было с ним в первый раз, и он возместит колхозу сто-

имость проданной картошки. Ему поверили и решили дело в суд не передавать. На собрании решено было в ближайшие дни провести на складе ревизию.

Когда комиссия, выделенная для этой цели, подошла к складу, оказалось, что на дверях нет пломбы. Очевидно, ее сорвал кто-то ночью во время дежурства дяди Леша. Тюлькин принимать склад отказался. Дядя Леша переминался с ноги на ногу и, время от времени поправляя висевшее за спиной ружье, растерянно хлопал покрасневшими веками.

Часа через два приехали в Поповку два милиционера с собакой. Синяя, с красной полосой машина стояла возле правления. Пожилой старшина-казах разговаривал с председателем. Молоденький, с черными усиками сержант держал овчарку на поводке и охотно рассказывал:

— Ведь это собака ученая. Полтора года на курсах была. Кого хошь поймает.

— А мясо ей дать — будет есть? — спросил Аркаша Марочкин.

— Что ты! — милиционер снисходительно посмотрел на Аркашу. — Да ведь она ученая. У ней и медаль по этому делу есть.

— А если конфету? — спросил Анатолий. — Будет?

— Нипочем не будет. Тоже сказал — конфете-ту.

Видно, сержант не терпел невежества.

Анатолий вынул из кармана шоколадку и, сняв обертку, бросил конфету собаке. Собака, лязгнув зубами, поймала ее на лету.

— Цыц! — крикнул милиционер, но было уже поздно. Собака благодарными глазами смотрела на Анатолия.

Старшина, кончив разговаривать с председателем, подошел к сержанту и взял из его рук поводок. Он подвел собаку к дверям. Обнюхав дверь, собака бросилась в поле. Держась за поводок, старшина неуклюже бежал за ней.

Возле склада собирался народ. Люди насмешливо смотрели, как милиционер с собакой кружит по полю, а когда они повернули назад, Анатолий сказал сержанту:

— Ученая! Так и я бегать умею.

Сержант промолчал. Старшина и собака вернулись. И вдруг неожиданно для всех собака бросилась на Тюль-

кица. Старшина оттянул ее к себе и, быстро надев намордник, снова отпустил. Собака уперлась передними лапами Тюлькину в грудь, рычала и даже через намордник пыталась ухватить его за горло.

— Ты срывал пломбу? — грозно спросил запыхавшийся старшина.

— Я, — бледнея, признался Тюлькип.

Его посадили в машину.

— Он, понимаешь, зря признался, — пояснил молоденький милиционер, запирая снаружи дверцу. — Собака так и так должна была на него броситься. Ставил-то пломбу он.

34

Анатолий и Гошка шли по берегу Ишима. Дул холодный, порывистый ветер. Возле моста, стоя на большом плоском камне, голый по пояс, умывался Вадим. Он изображал из себя закаленного человека.

— Слушай, — сказал Гошке Анатолий, — почему бы тебе не дать этому, который в шахте потел, по шее?

— Зачем?

— За Саньку. Или просто из любопытства. Посмотреть, как это ему понравится. Надо ж ему знать, что иногда можно получить по шее. Пойдем. Я помогу.

— Да нет уж, не надо.

— Ну тогда я пойду один.

— Как хочешь, — Гошка повернул к дому.

Когда Анатолий подошел к мосту, Вадим уже умывался и растирал загорелую грудь мохнатым полотенцем. Анатолий подошел ближе.

— Приветствую тебя, пустынный уголок, — сказал он Вадиму.

— Привет!

— Ну как жизнь?

— Хорошо! — Вадим поежился и пакинул полотенце на плечи. Кисточки бахромы затрепетали на его закаленной груди. — Ветер.

— Ничего, мне не холодно, — успокоил его Анатолий и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки. — Значит, уезжаешь?

— Уезжаю,— сказал Вадим и сделал шаг в сторону дороги.— Извини.

— Ничего, я не тороплюсь,— сказал Анатолий, загоразивая дорогу,— приятно иногда поговорить с образованным человеком. Между прочим, я сейчас посоветовался с Гошкой, дать тебе по шее или не надо. Мы решили, что один раз можно.

— Да? — Щеки Вадима стали принимать зеленоватый оттенок, но сам он держался довольно спокойно.— За что, если не секрет?

— Не секрет,— сказал Анатолий.— Ты что девке мозги крутишь? Куда она поедет? Что ее там ждет?

— Да я разве ее заставляю? Я ей дал совет, и ее личное дело, выполнять его или нет. По-моему...

— Ну что по-твоему? Сам не можешь здесь жить, так другим не мешай. Зачем ты сюда приехал?

Вадим задумался.

— Ну, видишь ли... мне кажется... Я приехал сюда... чтобы делать здесь то, что все. И ты, и я, и Гошка. Все мы здесь делали одно общее дело, и никакой разницы в этом между нами нет.

— Есть разница, Вадим,— сказал Анатолий.— Разница в том, что ты приехал сюда опыт получать, а мы здесь живем. Понял? — неожиданно для себя самого он повысил голос.— Ты думаешь, я не знаю, как ты делал это общее дело? Я и про письмо знаю.

— С чем тебя и поздравляю,— Вадим криво улыбнулся. Анатолий подступил ближе к Вадиму.

— Слушай, ты...— сказал он ему.— Я тебе не Гошка. Я больной, я нервный, у меня справка есть.

Вадим что-то хотел сказать, но в нужных случаях он умел быть благоразумным.

— В другой раз приходи умываться в тулупе! — крикнул вслед ему Анатолий.— Поговорим.

В воскресенье утром Гошка сидел у окна и видел, как к правлению подъехала машина. Это Анатолий собрался везти колхозников на базар. Со всех сторон с мешками и кошелками к машине торопились женщины. Потом подо-

шли Санька и Вадим. Вадим сначала забросил в кузов чемоданы, а потом посадил Саньку. Прибежала Лизка. Она стояла возле машины, что-то говорила Саньке и время от времени проводила рукавом по лицу — должно быть, плакала.

Когда машина тронулась, Лизка долго еще стояла на дороге и махала рукой.

В это время в комнату вошла Яковлевна.

— Там шо робытсья, шо робытсья, — сказала она, ставившая с головы платок. — Все вэщи опысують. Стоить Сорока...

— Что? Чьи вещи?

— Та я ж кажу: Тюлькиных. Стоить Сорока, все пыше, пыше. Все, каже, конфискуемо. Будэм, каже...

Гошка, схватив в руки бушлат, искал глазами шапку, но, не найдя, ее, махнул рукой и выбежал на улицу.

Возле хаты Тюлькина стоял самосвал Павла-баптиста. Сам Павло в надвинутой на уши кожаной фуражке сидел в кабине и смотрел, как двое колхозников пытались втащить в кузов объемистый и тяжелый пружинный матрац.

— Осторожней, а то борт пошкрябаете! — Павло высунулся из кабины и еще глубже натянул на голову фуражку.

Гошке попался навстречу Микола, который вытаскивал спинки от кровати. В хате было еще несколько колхозников во главе с Сорокой. Сорока, раскрыв на подоконнике ученическую тетрадку, писал толстой авторучкой: «Опись имущества гр. Тюлькина Н. А.» Ручка писала плохо, Сорока встряхивал ее, разбрызгивая по крашеному полу зеленые чернила.

В соседней комнате безнадежно голосили Макогониха и Полина. Гошка подскочил к Сороке:

— Ты что делаешь? Зачем это?

— А я не знаю, — флегматично ответил Сорока. — Мне что сказано, то я и делаю.

Услыхав Гошкин голос, из соседней комнаты выскочила Полина. Она была в одной рубашке, распатланная. От злости Полина даже плакать перестала. Виновником всего она почему-то считала Гошку.

— Ага, прышов! — закричала она, раздувая ноздри и нелепо размахивая руками. — Прышов, да? Выслужився?

На вот тебе! — Гошке в руки полетело зеленое плиссированное платье. — Може, ще шо-набудь визьмэш? Може, шифанер тебе дадут?

Гошка держал в руках легкое платье и смотрел, как бьется на покрасневшей шее Полины голубая жилка. Потом неожиданно сорвался с места и, швырнув в сторону платье, бросился к выходу.

Петр Ермолаевич Пятница болел. Возле кровати на стуле лежали какие-то порошки, стоял стакан воды. На спинке стула висел черный, с потертым воротником пиджак. На левом борту пиджака — орден Красного Знамени с облупившейся местами эмалью.

— Лежите?! — закричал Гошка, врываясь в комнату. — Там у людей вещи описывают, а вы лежите и ничего не знаете!

— погоди, погоди, не кричи, — поднимаясь на подушке, сказал Пятница. — Во-первых, на больных и старых не кричат. Во-вторых, я все знаю, и нечего паниковать.

— Знаете?.. — Гошка растерялся, посмотрел на вспотевшую лысину председателя, на пиджак, на облупившийся орден. — Как же так, Петр Ермолаевич? — совсем тихо спросил он. — Знаете и лежите!

— Ты, Георгий, не смотри на меня так, — сказал Пятница, опуская глаза. — Тут дело серьезное. Я звонил в район. Говорил со следователем. Понимаешь, Тюлькин сам признался, что наворовал в колхозе тысяч на пятьдесят. Следователь говорит, что по суду вещи все равно конфискуют. Вот я и решил описать все это, пока Полина не припрятала.

— Петр Ермолаевич, а разве семья виновата, что Тюлькин вор? Разве они должны за него отвечать?

— Ну, тут трудно сказать, кто за кого отвечает. Тюлькин ведь деньги домой приносил.

— Какие деньги он приносил? Вы ведь сами знаете, что у него баба была в городе. Да и пил он.

— Ну ладно, Яровой, — рассердился председатель. — Нечего нам тут с тобой антимионии разводиться. Я знаю одно — раз человек украл, с него надо получить. Вот так.

— Ну, как же...

— Не знаю, Яровой, ничего не знаю. На то есть законы, которые все мы должны выполнять.

Гошка посмотрел председателю в глаза, повернулся и, сторбившись, пошел к выходу. Он уже взялся за ручку двери, но остановился:

— Петр Ермолаевич!

— Да?

— Петр Ермолаевич! — Гошка вернулся. — Вот вы часто рассказываете про Первую Конную. А если бы там так делали?

Пятница приподнялся в постели.

— Ты, Георгий, мне в душу не лезь, — сказал он хмуро. — Тоже заладил: в Первой Конной, в Первой Конной... Много ты понимаешь. Молод еще. Глуп.

Гошка ничего не ответил и опять направился к выходу.

— погоди, — сказал Пятница.

Гошка остановился.

— Пойди-ка сюда. — Председатель посмотрел ему в глаза. — А может, ты и не глуп. Может, это я... не понимаю чего-то. Чего-то путается в голове... Старею, что ли... Ладно, Георгий, сейчас пойдем разберемся.

Пятница взял со стула брюки и просунул в них белые худые ноги.

36

Всю ночь шел снег. Но никто этого не знал! Люди спали, и снились им разные сны. А утром проснулись, выглянули в окошко и увидели — первый снег.

Утром прибежал Анатолий. В зимней шапке, с фотоаппаратом через плечо.

— Гошка, вставай! Пойдем фотографироваться.

Он тормозил Гошку до тех пор, пока тот не поднялся. Достал из шкафа тщательно отутюженный костюм. Анатолий нетерпеливо ожидал, пока Гошка оденется.

— Да кто ж так галстук подвязывает! В Москве сейчас тонкие узлы носят. Ну чего ты опять хмуришься? Подумаешь — уехала девка. Ну и уехала, — другую найдешь. Сама ведь она виновата.

— Сама... А знаешь, что мне Лизка вчера сказала? Все это брехня. Ничего у Сашки с Вадимом не было.

И вообще она не с Вадимом уехала, а в свой город, к родным.

Они вышли на улицу. Все было в снегу — поля, крыши, стога сена.

Фотографировали друг друга сначала у речки, потом возле мельницы, напоследок дома.

А вечером пошли они в клуб. В клубе играла радиола, кружились пары. Илья Бородавка сидел один в библиотеке и подбирал пластинки. Вступив в прежнюю должность, Илья снова задвинул в угол рояль и положил на крышку табличку «Руками не трогать». Но больше ничего менять не стал. Илья понимал, что сравнения с Вадимом ему не выдержать, и все-таки был несказанно обрадован тем, что клуб снова в его распоряжении. Кроме того, была у Ильи еще одна радость, которой он тут же поспешил поделиться с Гошкой.

— Слышь, Гошка, Пелагея-то моя ездила в город. А врач ей сказал: «Вы, говорит, на втором месяце». На втором месяце, — повторил Илья и кашлянул в кулак, должно быть от смущения.

Они снова вернулись в клуб и долго смотрели на танцующих. Аркаша Марочкин, одетый в новенькое полупальто, кружил раскрасневшуюся от счастья Лизку. Только вчера они расписались, и на заседании правления было решено дать им полдома. Правда, Лизка хотела получить целый дом, но из этого ничего не вышло.

В перерыве между двумя танцами Лизка подошла к Гошке:

— Гошка, председатель сказал, что ты завтра со мной в город поедешь. Там гардеробы по тыщи двести я видела.

— Ладно, — сказал Гошка, — съездим.

— Ну вот и хорошо, — обрадовалась Лизка. — Значит, прямо утречком и подъезжай. Четвертый дом от краю.

— Знаю, — сказал Гошка и подошел к Анатолию: — Пойдем домой.

— Побудем еще немного.

— Да чего тут делать? Пошли.

Вышли на улицу. Было совсем темно. Сквозь разрыв в облаках редкими кучками млели звезды. Гошка включил фонарик, и по снегу запрыгал широкий, едва заметный желтый круг.

— Надо сменить батарейку,— сказал Анатолий.

Гошка не ответил. Они шли, и каждый думал о своем.

— Ты, Гошка, я думаю, смог бы,— неожиданно сказал Анатолий.

— Что — смог бы?

— Подвиг совершить.

— Подвиг? Нет, наверное, не смог бы.— Гошка вспомнил, что когда-то об этом же его спрашивала Санька.— Где уж,— вздохнул он,— даже с Санькой быть человеком не смог. А тут...

Возле дома Ильи Бородавки они попрощались, и Гошка один пошел домой.

— Стой! Кто идет? — грозно окликнули его возле склада.

Дядя Леша стоял у самых дверей и держал ружье наготове.

— Это я, дядя Леша,— сказал Гошка, подходя.— Стоишь?

— Стою,— неохотно сказал дядя Леша.— При блombe стою.

— Я около тебя посижу, здесь, ладно?

Дядя Леша заколебался, но отказать не посмел:

— Посиди, чего уж.

Гошка смахнул со ступеньки снежок и сел.

— Слухай, Гошка,— нарушил молчание сторож,— вот если баба моя в пятьдесят годов работу бросила, пенсию ей будут платить? Ты не узнавал?

— Не узнавал,— сказал Гошка.— Дядя Леша, от тебя Яковлевна никогда не уходила?

— Уходила? Как это — уходила?

— Ну, может, ты ее обидел когда.

— Обидел? Зачем мне ее обижать? Ну бывало, конечно, в молодости, побьешь по пьяному делу, а чтоб обижать — нет, не обижал я ее.

— Ну ладно,— Гошка встал.— Пойду спать.

Основные работы в колхозе давно закончились, но па току еще шумели автопогрузчики и зернопульти. Колхозники счищали с буртов пшеницы тонкий слой снега и грузили зерно на машины.

Прямо с элеватора Гошка подъехал к хозяйственному магазину, где его ожидали Лизка и Аркадий. Они купили только шифоньер, а диван, который продавался в магазине, Лизке не понравился: он был без зеркала. А еще Лизка купила на базаре матерчатый коврик, на котором были изображены непроходимые джунгли и полосатый тигр с оскаленной пастью. Лизка показала коврик Гошке.

— Ничего! Хорошо бы еще сюда лебедя,— пошутил Гошка.

— Так тут же тигра. Она его съест. Картины понимать надо,— укоризненно заметила Лизка.— Слышь, Гошка, а я тут на почту ходила...

— Ну и что?

— Да ничего. Письмо от Саньки получила.

— Письмо? Что пишет? — Гошке хотелось показать, что письмо его мало интересует, но это ему не удалось.

— Чего пишет-то? Да так... ничего особенного. Ребят, говорит, у нас много, и все больше летчики да инженера.— Лизка посмотрела на Гошку и пожалела: — Ладно, это я так просто, для шутки. Ты бы ей написал письмо — может, вернется. На вот адрес.

Лизка оторвала нижнюю часть конверта и подала Гошке.

Гошка положил адрес в карман гимнастерки. Потом он открыл задний борт и влез в кузов, а Аркаша подавал ему шифоньер снизу. Шифоньер был тяжелый, дубовый, и Аркаша никак не мог его осилить. Лизка, скрестив руки на груди, стояла в стороне и командовала:

— Да ты его споднизу, споднизу бери!

— Ты лучше подсобила б,— хмуро заметил Аркадий.

— Мне нельзя тяжелое подымать. Я женщина,— сказала Лизка.

Когда шкаф был погружен, Гошка получил последние указания:

— Гошка, ты там это... разгрузишь с кем-нибудь, а мы тут еще походим по магазинам.

Лизка взяла Аркашу под руку и повела по улице.

Гошка вынул из кармана обрывок конверта и еще раз посмотрел на адрес, который был написал Санькиной ру-

кой. Значит, она и правда ни в какую Москву не поехала. Может, еще вернется...

Было тепло. Таяло. Следы автомобильных колес пожелтели. Гошка остановил машину возле дорожного щита, что стоял на обочине, и, подойдя к нему, долго смотрел на крупные буквы, которыми было написано одно слово:

ПОПОВКА

Потом нашарил в кармане угловатый осколок мела и написал внизу:

«Мы здесь живем. Г. Яровой».

Впереди послышался шум моторов. Гошка посмотрел на свою надпись и стер ее рукавом. Шум нарастал. По дороге в сторону Актабара шли машины, груженные хлебом.



ДВА ТОВАРИЩА



В субботний день после работы я получил повестку и уже во вторник, совершенно голый, стоял посреди актового зала педагогического института, где мы, призывники сорок такого-то года рождения, проходили медицинскую комиссию.

За окном было сыро и пасмурно. Порывистый ветер трепал деревья и раскачивал форточку, которая дергалась и скрипела, как бы напоминая о приближении осени.

Очередная врачиха, худая как жердь, черная, похожая на цыганку, хриплым, прокуренным голосом заставляла меня присесть, повернуться, нагнуться и брезгливо дотрагивалась до моего посипевшего, покрытого «гусиной кожей» тела рукой, обтянутой резиновой желтой перчаткой вроде тех, какими пользуются электрики, имеющие дело с проводами высокого напряжения.

Наконец и эта процедура была закончена, и мне разрешили предстать перед главными членами комиссии, заседавшими за длинным, ничем не покрытым черным столом, на правой ножке которого блестела жестяная блямба с выбитым на ней инвентарным номером.

Их было трое: маленький, щуплый старичок в белом халате, белой шапочке, из-под которой вылезали такие же белые волосы, полная женщина, тоже в халате и в шапоч-

ке, и молодой майор с золотыми зубами, с красными про-светами на зеленых погонах.

Маленький старичок задумчиво поглаживал мизинцем свои коротко подстриженные усики, смотрел в пространство мимо меня, и взгляд его не выражал ничего, кроме невыносимой скуки много прожившего и много повидавшего за свою жизнь человека. С тех пор как он впервые надел халат, перед его взором прошли тысячи, а может быть, десятки тысяч голых людей всех возрастов и рангов, и все они, в сущности, мало чем отличались друг от друга.

Другое дело — майор. Он смотрел весело на меня, на старичка, на полную врачиху, на всех остальных врачей и на моих товарищей, которые тряслись от холода перед этими врачами. И весь его цветущий, веселый вид говорил, что майор — оптимист. В конце концов, одни и те же вещи можно видеть по-разному, все зависит от точки зрения. Можно смотреть на лужу и видеть лужу, а можно смотреть на лужу и видеть звезды, которые в ней отражаются. Человек-то, конечно, гол, но если при этом он будет неуклонно соблюдать воинскую дисциплину, выполнять требования уставов, приказы вышестоящих начальников и постоянно совершенствовать свое воинское мастерство, то сможет стать отличником боевой и политической подготовки.

Майор только поинтересовался:

— Что это у тебя под левым глазом?

— В темноте на что-то наткнулся,— сказал я.

— На кулак? — спросил майор и подмигнул мне, довольный своей догадливостью.

Что касается женщины, сидевшей между старичком и майором, то она, по-моему, ни о чем таком вовсе не думала, и каждый голый индивидуум интересовал ее только в определенном смысле: годен он или не годен к строевой службе.

— Годен к строевой,— сказала она и тут же, потеряв ко мне интерес, перевела взгляд на следующего по очереди, который мелко постукивал зубами у моего затылка.

Майор отметил что-то на лежавшем перед ним листке бумаги и протянул мне повестку.

— Отдашь на завод как основание для расчета. Два дня на расчет, два — на пропой, один — лечить голову

после пьянки, в понедельник — отправка. .Все! — майор формулировал свои мысли кратко и четко.

Я прошел в угол, где лежали на скамейке мои вещи, и неспешно натянул на себя холодное белье и все остальное, кроме плаща, — плащ я надел в коридоре.

В коридоре шла совершенно иная жизнь, не похожая на ту, что осталась за дверью. На подоконнике, поставив на батарею парового отопления ноги в забрызганных грязью желтых ботинках, сидел мой бывший друг Толик, рослый парень в синей «болонье», с рыжей челкой, вылезшей из-под кепки. Он был, как всегда, в центре внимания.

Многочисленные зрители, обступив Толика, торопливо и дружно докуривали папирсы, а потом отдавали ему. Собрав штук десять или больше окурков, Толик аккуратно оборвал изжеванные мундштуки, а остальное высыпал в широко разинутый рот.

Все восхищенно замерли. Парень в кожаной куртке нагнулся и смотрел Толику прямо в рот, а другой парень, в желтом плаще, присел на корточки и смотрел на Толика снизу. Толик трудолюбиво жевал окурки, они шипели у него во рту и полыхали бледными искрами. Потом он сделал глотательное движение, опять широко раскрыл рот, в нем ничего не было, только язык, зубы и десны почернели от пепла. Наступила минута молчания.

— Потрясающе! — не выдержал парень в желтом плаще. — Первый раз вижу живого человека, который жрет горящие окурки. И не горячо?

— Ничего, — скромно сказал Толик, вытирая платком почерневшие губы, — я привык.

— А ты керосин пить умеешь? — спросил парень в кожаной куртке.

— Не знаю, не пробовал, — уклонился Толик. — Граненый стакан съесть могу. Есть у кого граненый стакан?

Граненого стакана ни у кого не оказалось. Была только железная кружка, прикованная цепью к питьевому бачку, но железо Толик не ел.

Заметив меня, Толик спросил:

— Ты домой?

Я ответил:

— Домой.

— Подожди, пойдем вместе. Я только рот сполосну. Он побежал в туалет, находившийся в конце коридора.

Я ждать его не стал и пошел один.

Когда пришел, мать в коридоре мыла полы. Она бросила к порогу тряпку, я вытер ноги и прошел в комнату. Мать подняла тряпку и прошла следом за мной.

— Ну что? — спросила она.

— А где бабушка? — спросил я.

— Пошла в магазин за хлебом.

— А,— сказал я и посмотрел на маму.

Она смотрела на меня с тревогой и надеждой на то, что все обошлось.

— Все в порядке,— сказал я беспечно.— Годен к строевой.— И протянул ей повестку.

Мама бросила тряпку на пол, вытерла о халат мокрые руки. Когда она брала повестку, руки ее дрожали. В повестке было написано, что мне, Важенину Валерию Сергеевичу, к такому-то числу необходимо получить на производстве полный расчет, включая двухнедельное пособие, и явиться в райвоенкомат, имея при себе кружку, ложку, смену белья, паспорт и приписное свидетельство. Мать прочла все от первого слова до последнего, а потом села на стул и заплакала.

Я зашел сзади и обнял ее за плечи.

— Мама,— сказал я,— я же не на войну.

Наш город делился на две части — старую, где жили мы, и новую, где мы не жили. Новую чаще всего называли «за Дворцом», потому что на пустыре между старой частью и новой строили некий Дворец, крупнейший, как у нас говорили, в стране. Сначала это должен был быть крупнейший в стране Дворец металлургов в стиле Корбюзье. Дворец был уже почти построен, когда выяснилось, что автор проекта подвержен влиянию западной архитектуры. Ему так намылили шею за этого Корбюзье, что он долго не мог очухаться. Потом наступили новые времена, и автору разрешили вернуться к прерванной работе. Но теперь он был не дурак и на всякий случай пристроил к зданию шестигранные колонны, которые стояли как бы отдельно. Сооружение стало называться Дворец науки и техники, тоже крупнейший в стране. После установки колонн строительство снова законсервировали, под ним обнаружили крупнейшие подпочвенные воды. Прошло

еще несколько лет — куда делись воды, не знаю, — строительство возобновили, но теперь это уже должен был быть крупнейший в Европе Дворец бракосочетания.

Вообще в нашем небольшом городе было много чего крупнейшего. Крупнейший бондарный завод, крупнейший мукомольный комбинат и крупнейшая фабрика мягкой тары, где делали мешки и авоськи. Шестизэтажный дом, в котором мы жили, был когда-то крупнейший в нашем городе, потом появились новые, покрупнее.

Квартира наша была не крупнейшая — она состояла из двух смежных комнат. В ней мы жили троим. Мой отец с нами не жил. Он оставил нас, когда мне было лет шесть или семь, а он работал в редакции городской газеты и учился заочно в Московском университете. Однажды после сессии он привез из Москвы новую жену и ушел от нас. Сам я этого момента не помню, да, собственно говоря, такого момента, наверное, и не было, потому что он несколько раз уходил и возвращался, и еще неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы мама однажды не сказала:

— Хватит! Либо оставайся здесь, либо там.

Отец остался там. С новой женой Шурой они долго мыкались по частным квартирам и только недавно получили собственную в кооперативе.

Он давно уже ушел из редакции, потому что стал за это время писателем — писал для цирка репризы. Кроме того, с самого детства я слышал, что отец задумал и пишет грандиозный роман, на который возлагает большие надежды.

Сначала он к нам приходил часто — каждое воскресенье. Приносил конфеты, подарки, расспрашивал, как я живу, как учусь. В последнее время, когда я стал уже взрослым, отец бывал у нас реже (я сам к нему ходил иногда), но все-таки бывал и давал матери деньги. Мать деньги брать не хотела (я ведь на себя уже сам зарабатывал), но боялась обидеть отца и брала.

Вообще она, несмотря ни на что, относилась к отцу хорошо и жалела его.

Почти каждый день после работы под надзором мамы и бабушки я готовился к поступлению в институт.

За год до этого я пытался попасть в Московский энер-

гетический, но сделал в сочипении три опибки (две стилистические и одну грамматическую) и провалился. Был зверский конкурс. Мама была огорчена больше меня.

Она считала, что я по призванию энергетик, наверное, потому, что мне иногда удавалось починить перегоревшие пробки или сменить спираль в утюге. Я в своем призвании не был уверен и по совету Толика поступил работать. К великому мамипому неудовольствию.

Моя мама, жепщина умная и образованная (она имела высшее экономическое образование и работала старшим нормировщиком на заводе), могла понять все что угодно.

Она не могла понять одного — моей странной, на ее взгляд, дружбы с Толиком.

— Я понимаю,— говорила она,— когда людей связывают общие интересы или когда они дружат по идейным убеждениям.

Я был бы не прочь дружить с Толиком по идейным убеждениям, но, насколько мне помнится, таковых в ту пору ни у него, ни у меня не было, и мы дружили просто так, потому что были всегда вместе. Мы жили на одной улице, в одном доме, а теперь еще работали на одном заводе и в одном цехе. Так что общие интересы у нас все-таки были.

На нашем заводе делались очень серьезные, очень важные вещи. Настолько важные, что мы сами толком не знали, какие именно. Не то ракеты, не то скафандры — в общем, что-то космическое.

Что касается нас с Толиком, то мы сами важных вещей не делали. Мы делали ящики для этих важных вещей. Мы их сколачивали из досок, и профессия наша называлась «сколотчики». Размеры ящиков считались секретными, потому что, как нам объясняли, по размерам ящиков можно определить размеры изделий, а по размерам изделий их назначение и характер. Мы с Толиком, как ни думали, ничего по этим размерам определить не могли. Толик в глубине души, по-моему, надеялся, что в космос запускают просто ящики, как таковые. Поэтому внутри ящиков он иногда писал карандашом свою фамилию «Божко» в расчете на то, что какой-нибудь из них

попадет на другую планету и таким образом фамилия эта станет известной не только на земле, но и за ее пределами.

Утро мое начиналось всегда с небольшого скандала. Сначала звонил будильник на стуле возле кровати, но я его выключал. Потом из соседней комнаты на помощь будильнику спешила бабушка, которая, к сожалению, не выключалась.

Маленькая, сухонькая старушка в белоснежном передничке, бабушка носила увеличительные очки с толстыми стеклами, делавшими ее глаза большими и страшными.

— Валерик, тебе пора вставать,— сообщала она таким сладким голосом, будто поздравляла меня с днем рождения.

Я лежал, уткнувшись лицом в подушку.

— Валерик, ты слышишь: уже половина восьмого.

Это было сильно преувеличено, потому что будильник с вечера я ставил всегда ровно на семь.

— Валерик, ведь ты не спишь. Я же вижу, что ты притворяешься.

На такие мелкие провокации я не поддавался.

Бабушка переходила к угрозам:

— Валерик, я все равно не уйду, пока ты не встанешь.

Я бы не встал, пока она не уйдет, но тут в комнате появлялась мама с решительным выражением на лице. Не тратя времени на разговоры, она стаскивала с меня одеяло. Дальнейшее сопротивление было бесполезным, я вскакивал и тащился в трусах в уборную.

Там мне тоже очень-то задерживаться не позволяли, приходила мать и грохала по двери кулаком.

— Валера, если ты там решил накуриться, пеняй на себя.

— Катя! — кричала из комнаты бабушка. — Скажи ему, чтобы он, когда выйдет, выключил свет, вчера лампочка горела всю ночь.

В двенадцать лет меня опекали, как маленького. Ни о каком куренье не могло быть и речи. Не говоря уже о питье. С девушками гулять разрешалось, но не позже чем до половины двенадцатого.

— Если девушка хорошая,— говорила мама,— она поймет, что у тебя дома будут волноваться. Ты можешь привести девушку сюда, и сидите здесь сколько угодно.

Девушки, даже хорошие, предпочитали сидеть с парнями на лавочках или обниматься в подъездах. У меня никакой девушки не было. У меня были только мама и бабушка, которым для полного спокойствия хотелось, чтобы все процессы моей личной жизни протекали на их глазах. В девятнадцать лет я понял, что ограничение свободы личности — тяжкое наказание, даже если оно следствие чьей-то безмерной любви.

Я выходил из дому примерно в половине восьмого, когда народу на улице было уже полно. В такое время все куда-нибудь да торопятся; кто на работу, кто в детский сад, кто в магазин.

На перекрестке возле сквера маячит долговязая фигура парня в сандалиях на босу ногу, в синей рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он один никуда не торопится и стоит просто так, равнодушно глядя на дома, на прохожих, на идущие мимо автомобили. Я подкрадываюсь к парню сзади и хлопаю его по плечу:

— Здорово, Толик!

Толик, вздрогнув от неожиданности, оборачивается, и конопатое лицо его расплывается в глупейшей улыбке.

— Привет! — он небрежно сует мне руку дощечкой.

Я достаю сигареты, мы садимся на заборчик, ограждающий сквер, курим.

Толик вынимает из кармана шариковый подшипник, вертит его на пальце, лукаво поглядывая на меня. Ему явно хочется, чтобы я спросил, зачем ему этот подшипник, и, хотя меня подшипник совершенно не интересует, я спрашиваю:

— Зачем он тебе?

— А ты догадайся.

— Делать мне нечего — буду еще догадываться.

— На мотороллер,— великодушно объясняет Толик.— Когда куплю, пригодится. Запчастей сейчас днем с огнем не найдешь. Эх, и ездить с тобой будем! — Толик кладет руки на воображаемый руль, наклоняется, словно в крутом выраже.— Вррррр.

Время подходит к восьми, людей на улицах все прибавляется. Машин тоже. Медленно проскрипел автобус, скособоченный на правую сторону: на нем нависло столько народу, что кажется странным, как это он не перевернется. Прогромыхал «МАЗ» с длинным, метров в двадцать, прицепом на многих колесах. За ним, припадая на передние колеса, прошелестела черная «Волга».

- А ты вчера что делал? — спрашивает Толик.
- Ничего. Лежал, книжку читал.
- Что за книжка?
- «Над пропастью во ржи...»
- Про шпионаж?
- Нет, про жизнь.
- А почему ж пропасть?
- Не знаю, не дочитал еще.
- Может, дальше про шпионаж? — надеется Толик.
- Может быть, — говорю я. — Смотри — Козуб едет.

Витька Козуб — наш старый знакомый. Он жил когда-то в нашем доме, и я с ним даже учился вместе в школе, в четвертом классе. Я бы с ним учился и дальше, если бы остался на второй год. За двенадцать лет упорной учебы Козуб кое-как одолел семилетку и четырехмесячные курсы шоферов третьего класса. Теперь он ездит на стареньком сером «ГАЗ-51» с полуистершейся надписью на левом борту: «Будьте осторожны на перекрестках!»

Сейчас осторожность надо проявлять больше всего ему самому. И он ее проявляет, потому что заметил нас. Бдительно вытянув шею, он приближается к перекрестку, выключив скорость.

Мы с Толиком сидим, курим, делаем вид, что ни сам Козуб, ни его машина нас совершенно не интересуют. Мы даже совсем отворачиваемся и смотрим в другую сторону.

Но вот машина вписалась в поворот.

— Пошел! — командует Толик.

На повороте Козуб переключает скорость и дает полный газ, но уже поздно. В два прыжка настигаем мы беззащитную жертву, и вот уже наши пальцы крепко вцепились в задний борт кузова.

Козуб начинает бросать машину из стороны в сторону,

мы раскачиваемся, как обезьяны на ветках. Очень трудно удержаться. Но вот я нашел уже точку опоры и одну погу перекинул в кузов. Толик тоже. А враг не дремлет. Он применяет новый маневр. Визжат тормоза, и в полном соответствии с законом Ньютона наши тела довольно активно стремятся сохранить состояние равномерного прямолинейного движения. Словно две торпеды на параллельных курсах, мы летим вперед, рискуя пробить головами кабину.

— Что, ушиблись? — Козуб вылез на подножку и смотрит на нас через борт с лицемерным сочувствием.

— Ничего, — Толик потирает ушибленное колено. — Валяй дальше.

— Слезайте.

— Как же, слезем! — ухмыляется Толик.

— Хуже будет, — грозит Козуб.

— Куда уж хуже? Милицию позовешь?

— Зачем милицию? Он шайку свою соберет, — говорю я.

— Да уж найду, кого позвать, — обещает Козуб.

Он стал таким храбрым после того, как подружился с Греком. Этой дружбой Козуб гордился, как будто Грек его был академиком или министром. Но Грек не был ни академиком, ни министром — он был просто хулиганом, достаточно, однако, известным в масштабе нашего города.

Козуб при случае намекал нам, что стоит ему мигнуть Греку, тот из нас сделает блин, но намеки оставались намеками, потому что Грек был чаще всего далеко, а мы близко.

— Последний раз спрашиваю: не слезете?

— Последний раз отвечаю: не слезем, — Толик плюнул мимо Козуба на дорогу.

— Ну, ладно, я вас теперь покатаю.

Едем дальше. Посреди кузова подпрыгивает запасное колесо. Мы садимся на колесо и подпрыгиваем с ним вместе.

Проехали железнодорожный переезд, пересекли пустырь с недостроенной громадой Дворца бракосочетания, потом район наших местных Черемушек. Вот стадион «Трудовые резервы», а за ним уже и наша проходная.

Я заглянул в кабину через плечо Козуба на щиток приборов.

Мы живем в век больших скоростей. На спидометре семьдесят. Со спидометра я перевожу взгляд на дорогу, потом на Толика. На лице Толика полное уныние. Если мы покинем машину на этой скорости, наши тела слишком долго будут сохранять состояние прямолинейного движения. Тормозить брюхом об асфальт не очень приятно.

— Постучи ему,— предлагает Толик, хотя в действительность этой меры ни на секунду не верит.

Я тоже не верю, но — другого выхода нет — стучу. Сначала тихонько, потом кулаком, потом в это дело включается Толик, мы громим кабину четырьмя кулаками — никакого эффекта. А колеса крутятся, и наше родное сверхважное предприятие осталось далеко позади.

Козуб злорадно смотрит назад, и лицо его вытягивается от злости и удивления. Мы подкатили к заднему борту запаску и пытаемся перевалить ее через борт. Снова визжат тормоза, наступает состояние относительно покоя. Козуб вылезает на подножку.

— Вы что делаете?

— Да вот,— с невинным видом отвечает Толик,— хотим поставить небольшой опыт: сможет колесо ехать отдельно от машины или не сможет.

— Ладно, слезайте.

— Слезать? — Толик смотрит на меня, и я отвечаю ему глазами: ни в коем случае.

— Никак не выходит,— вздыхает Толик и садится на борт.

— Далеко, что ли?

— Далеко.

— Как хотите,— Козуб достает сигарету, закуривает.— У меня почасовой график, я не спешу.

— Тебе хорошо,— завидует Толик.— А вот у нас сельщина. Помоги, Валера, будь другом,— обращается он ко мне, склоняясь опять над запаской.

Двум человекам сбросить с машины колесо легче, чем одному поднять его на машину. Закон всемирного тяготения. Это знает даже Козуб. Он для этого слишком долго учился.

Произнеся короткую речь, полную негодования и уг-

роз, он разворачивает машину и подвозит нас прямо к проходной.

— Спасибо,— говорит Толик, слезая.— И не забудь, Витя: мы кончаем работу в четыре.

Вплотную к нашему цеху примыкает склад тары из-под оборудования — беспорядочное нагромождение ящиков на большом пространстве.

Толик, раскинув руки, лежит на траве под ящиком. Я стою рядом. Курим. Светит солнышко. До начала работы еще минут двадцать. Делать нечего.

— Не хочется на работу идти,— вздыхает Толик.— Ты бы рассказал что-нибудь, что ли?

— Стихи хочешь?

Толик стихи не любит, но тут соглашается:

— Давай стихи.

— Ну, ладно.— Я взбираюсь на один из ящиков. Толик принимает удобную позу, смотрит на меня снизу вверх.

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Алчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.

Вокруг, насколько хватает взгляд, стоят эти большие заграничные ящики. Они громоздятся друг на друга и кажутся каким-то страшным пустынным городом...

...А царь тем ядом питал
Свои послушливые стрелы.
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

— Ну как? — спрашиваю я.

— Здорово! — искренне говорит Толик. Он залезает на ящик и садится на край, свесив ноги.— И как ты все это помнишь? Не голова, а совет министров. Я даже в школе, когда учился, никак эти стихотворения запомнить не мог. Не лезут в голову, да и все. Слушай, а вообще вот эти, наверное, которые стихи пишут... поэты... ничего себе зарабатывают.

— Наверно, ничего,— соглашаюсь я.

— Работа, конечно, не для всякого,— задумчиво говорит он.— Не с нашими головами. А я вот читал в газете:

один чужак нашел в пещере... забыл чего нашел. Деньги, что ли. Ты не читал?

— Нет, не читал.

Толик вздыхает.

— Мне бы чего-нибудь такое найти, я б матери платье новое справил. Джерси.

— Да зачем ей джерси?

— Ну так, знаешь. Слушай! А что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами... — он закрывает глаза и мечтательно покачивает головой, — куча золота.

— Да ну тебя, — говорю я. — Нужно тебе это золото!

— А что? — говорит Толик. — Зубы вставил бы.

— Зачем тебе? У тебя и свои хорошие.

— Золотые лучше, — убежденно говорит Толик.

Разговоры мы вели, может, и глупые, но в то время я мало думал об этом.

Я относился к Толику хорошо до тех пор, пока не произошла эта история, которая помогла мне понять и Толика и себя самого.

Но расскажу по порядку.

Однажды в субботу я сидел в большой комнате за обеденным столом и под надзором мамы готовился к новому поступлению в институт — учил русский язык. Мама лежала у окна на кушетке и читала «Маленького принца» Экзюпери, который в последнее время стал ее любимым писателем, оттеснив на второй план Ремарка. Все, что писал Экзюпери, казалось маме очень трогательным. В самых трогательных местах она доставала из-под подушки давно уже мокрый платок и плакала тихо, чтобы мне не мешать. Напротив нее за своей швейной машинкой сидела бабушка. Она перешивала мою старую куртку: паверное, думала, что я эту куртку буду еще носить. Треск машинки меня раздражал.

— Мама, — сказал я, — я пойду учить к себе в комнату.

Мама подняла ко мне заплаканное лицо и твердо сказала:

— Нет, ты там ляжешь на кровать.

— Но ты же лежишь, — сказал я.

— Я лежу, потому что отдыхаю. Работаю я сидя.

Мама вытерла слезы и снова уткнулась в книгу, давая понять, что разговор окончен.

Делать было нечего, я снова взялся бубнить эти проклятые правила. Я старался делать это как можно громче, чтобы заглушить раздражавший меня стрекот швейной машинки.

— «Слова,— читал я,— нужно переносить по слогам, но при этом нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной, например: люб-овь, кров-ать, пет-ух».

Когда я это прочел, бабушка остановила машинку и насторожилась. В воздухе повисла зловещая тишина. Я сразу почувствовал, что что-то произошло, перестал читать и повернул голову к бабушке. Она не отрываясь смотрела на меня и молчала. Я, не зная, что сказать, тоже молчал.

— Что такое «хетуп»? — строго спросила бабушка.

— Хетуп? — переспросил я заискивающе. — Какой хетуп?

— Только что ты сказал «хетуп».

— А-а,— сообразил я. У меня даже отлегло от сердца. — Я сказал не «хетуп», а «петух».

Я думал, что на этом инцидент будет исчерпан, но я забыл, с кем имею дело.

— Валера, ты сказал «хетуп».

— Бабушка, я не говорил «хетуп», я сказал «петух». И даже не сказал, а прочел вот здесь в учебнике: «люб-овь, кров-ать, пет-ух».

— Нет, ты сказал «хетуп».

Мать подняла голову от книжки, посмотрела сперва на бабушку, потом на меня, пытаюсь понять и осмыслить происходящее.

— Что еще за спор? — сурово спросила она.

— А чего ж она говорит,— сказал я,— что я сказал «хетуп».

— Не она, а бабушка,— поправила мать.

— Все равно. Я сказал «петух», «петух», «петух». — Мне было так обидно, что я еле сдерживал себя, чтоб не заплакать.

— Господи! — всплеснула руками бабушка. — Ну за чем же так волноваться? Если ты даже ошибся и сказал «хетуп», в этом же нет ничего...

— Я не ошибался, я сказал «петух».

— Ну, хорошо, пускай я ошиблась, пускай мне послышалось «хетуп», хотя на самом деле ты сказал «петух».

— Да, я сказал «петух».

— Ну и ладно, пожалуйста, успокойся. Ты сказал «петух». — Бабушка пожевала губами и все-таки не сдержалась: — Хотя, если бы ты старался быть объективным...

Этот разговор мог кончиться плохо, но в это время в коридоре раздался звонок, и я побежал открывать.

За дверью стоял Толик. Он был в коричневом, спитом на заказ костюме, в белой рубашке с галстуком. Сбоку на ремешке, перекинутом через плечо, болтался транзисторный приемник.

— Вытирай ноги и проходи, — сказал я.

Толик нагнулся и стал развязывать шнурки на ботинках.

Из комнаты выглянула мама.

— Толя, что за глупости? — сказала она. — Зачем ты снимаешь ботинки? Вытри ноги, и все.

— Ничего, ничего, — сказал Толик.

Он снял ботинки и, подойдя к маме, протянул ей руку.

— Здравствуйте, Екатерина Васильевна.

У него были черные эластичные носки с красной полоской.

Он вошел в комнату, огляделся, подошел к бабушке и, протянув руку ей, сказал громко:

— Здравствуйте, бабушка.

— Здравствуй, Толя, — сказала бабушка и посмотрела на него с нескрываемым восхищением. — Ты куда это так вырядился?

— Так, — сказал Толик, — просто переоделся.

— Садись, — сказала мама, подвигая к нему стул.

— Благодарю. — Толик подтянул штанины, чтоб не вытягивались, положил руки сначала на стол, потом его смутила белая скатерть, он снял руки со стола и положил на колени.

— Толя, — спросила бабушка. — Кто тебе гладит костюм?

— Да я, соответственно, сам глажу.

— Почему соответственно? — спросила мама.

— Просто слово такое, — пояснил Толик.

— Какой аккуратный мальчик, — вздохнула с завистью

бабушка.— Ты, наверное, в брюках в постель не ложишься?

Толик смущенно кашлянул, шмыгнул носом и посмотрел на меня.

— Да ведь вообще не положено.

— Бабушка хочет сказать,— объяснил я,— что бывают счастливые люди, у которых такие вот аккуратные внуки.

Толик сидел красный от смущения и от галстука, давившего шею. Он не знал, как реагировать на мои слова, и промолчал.

— Чаю хочешь с вареньем? — спросила мама.

— Благодарю,— сказал Толик,— что-то не хочется.—

Он многозначительно посмотрел на меня, я понял, что светские манеры даются ему с трудом.

— Сейчас пойдем,— сказал я.

— Куда это вы собрались?— спросила мама.

— Надо подышать воздухом.

Толик солидно кашлянул.

— Опять будете шляться до часу ночи,— сказала мама.

— Ладно,— сказал я,— никуда не денемся.

Я пошел в другую комнату и переоделся. Конечно, костюм мой был не так уж выглажен, но какие-то складки еще оставались.

Когда я вошел, бабушка посмотрела на меня, потом на Толика и вздохнула. Сравнение было явно не в мою пользу.

— Пошли, что ли,— сказал я.

Толик чинно встал, подошел к маме, протянул руку.

— До свиданья, Екатерина Васильевна,— сказал он громко.

Потом подошел к бабушке и протянул руку ей.

— До свиданья, бабушка,— сказал он еще громче.

Я пропустил его вперед. Пока Толик зашнуровывал ботинки, мама стояла в дверях комнаты и, насмешливо усмехаясь, смотрела на нас обоих.

Выйдя на лестницу, Толик облегченно вздохнул и снова стал самим собой. На площадке он подошел и посмотрел вниз.

— Слушай, а ты бы отсюда за миллион рублей прыгнул?

Я посмотрел вниз и отказался немедленно.

— А я бы, пожалуй, прыгнул,— сказал Толик.

— И ноги сломал бы.

— Зато миллион рублей,— сказал Толик.— Знаешь, я на эти деньги чего купил бы?

— Костыли,— сказал я.

— Зачем костыли? — обиделся Толик.— Можно «Москвич» с ручным управлением.

Мы вышли на улицу. Вечерело.

Солнце еще не зашло, но его не было видно. Оно пряталось где-то за домами, и его лучи лежали под крышами самых высоких зданий. Мы шли в сторону парка.

— Слушай,— неожиданно спросил Толик,— у тебя отец — хороший человек?

Вопрос был сложный. У меня самого отношение к нему было смутное. Точнее, я к отцу своему относился по-разному. Но одно дело, что думал я сам по этому поводу, и другое дело, что отвечал другим.

— Хороший,— сказал я, и это была правда, потому что отец мой был, может быть, и не совсем хорошим, но скорее хорошим, чем плохим.

— А почему же он мать твою бросил?

— Он не бросил, просто они не сошлись характерами.

— А чего там сходиться-то? — усомнился Толик.— Чего сходиться? У меня вот отец с кем хочешь сойдется характерами. Мать ему чего не так скажет, он ей как врежет, она летит из угла в угол.

Отец Толика, дядя Федя, работал в бане пространщиком. Что значит это слово — я не выяснил до сих пор, знаю только, что дядя Федя сторожил в бане одежду клиентов, подавал желающим полотенце, похлопывал по спине и приносил из буфета пиво в стеклянных кружках. За это он получал в зависимости от объема услуг и щедрости клиента десять — пятнадцать копеек. Некоторые давали больше, но таких было мало. Он работал через день по двенадцать часов, но готов был работать и каждый день, если бы разрешили, не из любви к профессии, а из-за этих самых гривенников, которых к концу смены набиралось довольно много. Мать Толика несла эту мелочь в магазин к знакомой кассирше и обменивала на

бумажки, а когда бумажек набиралось достаточно, дядя Федя шел в сберкассу и делал очередной вклад.

— А много у твоего отца денег? — спросил я у Толика.

— Много, — вздохнул Толик. — Я точно не знаю, но там, наверное, машины на три уже наберется. И все мало ему. Я получку принесу, он все до копейки пересчитает и по расчетной книжке проверит. А чуть не досчитается — сразу по шее.

— А как же ты на мотороллер собираешь? — спросил я.

— Выкручиваюсь, — сказал Толик. — Я говорю, что мастеру даю по десятке с каждой получки... Слушай, — оживился он, — а ты своего отца не спрашивал, сколько вот поэты или писатели зарабатывают?

— Не спрашивал. А зачем тебе?

— Так просто. Мне один чудак говорил: рубль за строчку. Это можно знаешь сколько строчек написать.

— Сколько? — спросил я.

— Много, — ответил Толик и остановился. — Что это там такое?

На спортплощадке во дворе красного кирпичного здания школы возле турника толпились какие-то люди.

— Может, соревнования? — предположил я.

— Не похоже, — усомнился Толик. — Пошли поглядим.

Мы подошли ближе. Там к турнику было подвешено какое-то сооружение из арматурной проволоки, как я потом понял — макет купола парашюта. От купола шли стропы, соединявшиеся у брезентовых лямок с блестящими замками. Возле турника толпилось человек пятнадцать ребят нашего с Толиком возраста. Рядом на параллельных брусках возвышался худощавый человек лет тридцати (по нашим тогдашним представлениям — пожилой), в кожаной куртке на молниях и в старой летной фуражке с облезлой кокардой. К куртке у него был прикручен большой значок с изображением белого парашюта на синем фоне. Наискось через значок шла блестящая металлическая цифра «600», а на цепочке болтался еще треугольничек, и там тоже было выцарапано какое-то число, не то «15», не то «45» — я точно не разглядел.

Человек этот сидел на одном бруссе и упирался левой ногой в противоположную стойку, удерживая равновесие. Мы с Толиком сразу догадались, что это инструктор по парашютному делу. Догадаться было, конечно, нетрудно.

Держа в руках авторучку и раскрытый блокнот, инструктор следил за ребятами, которые поочередно влезали в лямки, разворачивались влево, вправо и спрыгивали на землю, уступая место следующим по очереди.

— Следующий! — выкрикивал инструктор и отмечал в блокноте очередную фамилию.

Когда мы подошли, в лямках болтался высокий парень в клетчатой ковбойке. У него были очень длинные ноги, и парень поднимал их, чтобы они не волочились по земле.

— Развернись влево, — скомандовал инструктор.

Парень положил на грудь правую руку, потом левую, потом, подумав поменять их местами, потянул лямки на себя, и его длинное неуклюжее тело послушно повернулось влево.

— Вправо, — сказал инструктор. — Да побыстрей. Если ты и в воздухе будешь так долго соображать, тебе до самой земли времени не хватит.

— Что это вы делаете? — шепотом спросил Толик у остроносого парня в синем берете.

— Тренируемся, — тоже шепотом ответил парень. — Прыгать с парашютом будем.

— С турника, что ли? — насмешливо спросил Толик.

— Почему же с турника? С самолета. Нас от военкомата направили, — сказал парень и пошел к турнику, потому что подошла его очередь.

Пока он разворачивался вправо и влево, Толик зашел сбоку и внимательно наблюдал. Парень расстегнул лямки и сполз на землю.

— Следующий, — сказал инструктор.

Следующих, не оказалось.

— Все, что ли? — спросил инструктор.

— Как все? А я? — неожиданно сказал Толик.

— А чего ж ты стоишь? — рассердился инструктор.

— Задумался, — объяснил Толик.

Он стащил с себя транзистор, сунул его мне и вышел вперед. Влез в эти лямки, застегнул замки и стал болтать ногами, ожидая указаний инструктора.

— Не болтай ногами,— строго сказал инструктор.— Это тебе не качели. Развернись влево.

Толик решительно потянул за обе лямки, но у него почему-то ничего не получилось, и он стал раскачиваться, пытаясь развернуться.

— Ты что? — закричал инструктор.— Не знаешь, как разворачиваться?

— Забыл,— сказал Толик, глядя на инструктора.

— Если забыл, надо спросить. В воздухе спрашивать будет некого. Положи левую руку на грудь. Сверху правую. Берись за лямки. Тяни. Теперь вправо.

Вправо у Толика получилось совсем хорошо.

— Молодец,— похвалил инструктор.— Слезай. Как фамилия?

— Божко,— четко сказал Толик.

— Божко? Что-то я такой фамилии не помню.

— Пропустили,— нагло сказал Толик.

— Да? — Инструктор покорно пожал плечами и отметил что-то в блокноте.— Может быть. Есть еще кто-нибудь?

Толик стал мне усиленно подмигивать и призывать знаками последовать его примеру, и мне очень хотелось поступить так же, как он, но я не решился.

Инструктор спрятал блокнот и ручку в карман и прыгнул на землю.

— Сегодня в три часа ночи чтобы все были на бульваре у кинотеатра «Восход». Ровно в три придет машина, поедem прыгать. Ясно?

— Ясно! — нестройным хором закричали парашютисты.

— Можете расходиться,— сказал инструктор и первым направился к выходу.

Мы вышли на улицу. Я отдал Толику транзистор, он его на плечо вешать не стал, а держал в руках и размахивал. Потом он его включил и стал размахивать еще больше. Передавали Эдиту Пьеху по заявкам передовиков Саратовской области.

— Выключи ты его,— попросил я. Настроение у меня было паршивое.

Толик посмотрел на меня и все понял.

— Слышь, Валера, ты не огорчайся,— сказал он.— Утром придем и вместе прыгнем.

— Как же, прыгнем,— сказал я.— Тебя-то он в блокнот записал, а меня нет.

— А чего ж ты растерялся? — сказал Толик.— Я же тебе подмигивал. В общем, придем, а там видно будет. Ему все равно, есть ты в списке или нет. Ты думаешь, он мне поверил, когда я сказал: пропустили? Ему чем больше, тем лучше. Понял? Я это точно знаю.

В этом смысле Толик действительно знал больше меня. И умел многое из того, чего я не умел.

Мы идем по парку. Все аллеи запружены бесчисленными толпами желающих убить длинный субботний вечер.

Уже стемнело. Включили электричество. В дальнем конце парка грянула музыка — начались танцы. Мы прошли из конца в конец парка, постояли у танцплощадки, попили из автомата воды с мандариновым сиропом, заглянули в Зеленый театр, где шел концерт художественной самодеятельности гарнизонного Дома офицеров.

Идем дальше. Дошли до главного входа, опять повернули в сторону танцплощадки, но уже по другой аллее, по параллельной. Толик идет чуть впереди, заложив руки в карманы, раздвигая прохожих плечом. А меня все затирают, оттесняют от Толика, я отстаю, потом догоняю. Толик оборачивается, замедляет шаг, поджидая.

— Что ты все отстаешь? — ворчит он.— Не можешь ходить по-человечески? Будешь всем уступать дорогу — далеко не уйдешь.

На улице, в парке, везде, где много народу, Толик чувствует себя как рыба в воде. Он идет, уверенно выбрасывая вперед длинные ноги, вертит головой, здоровается с какими-то людьми, которых я даже не успеваю заметить, и обращает внимание на всех девушек, идущих нам навстречу. И все они или почти все поражают воображение Толика. Вот он схватил меня за руку:

— Гляди, вон кадришка какая идет.

«Кадришками» по моде нашего времени Толик называл всех девчонок. Были у него в словаре и другие названия — «красавицы», «курочки» или просто «бабы».

Я не чувствую в себе достаточного интереса, и мне очень стыдно. Мне кажется, что во мне чего-то не хватает,

раз я не испытываю при этом такого же восторга, как Толик. Мне не хочется казаться в его глазах дураком, и, вызывая в себе ложное возбуждение, я кричу с предельной заинтересованностью:

— Где кадришка?

— Прошла уже,— сердится Толик.— Пока ты тут чухался...

Не успев договорить фразы, он кидается за обогнавшей нас девицей на длинных, словно ходули, ногах:

— Девушка, а девушка, вы не из баскетбольной команды?

— Иди ты к...— не оборачиваясь, ответила девушка.

Толик вернулся сконфуженный.

— Что она тебе сказала? — спросил я.

— Да ничего,— сказал Толик.— Дура длинная.

Идем дальше. Толик сопит, молчит, переживая только что перенесенный позор.

— Толик,— спрашиваю я,— у тебя есть идейные убеждения?

— Чего? — удивился Толик.

— Я спрашиваю: у тебя есть идейные убеждения?

— Маленько есть,— подумав, ответил Толик.

— А какие у тебя убеждения?

— Разные,— отмахнулся Толик и опять насторожился.— Пошли.

— Куда? — не понял я.

— Потом поймешь.

Он схватил меня за руку, увлекая вперед. Мы почти побежали. Свернули на боковую, безлюдную аллею: Впереди нас шли две девушки в красных платьях с красными сумочками в руках.

— Понял — куда? — сказал Толик, сбавляя ход: теперь мы шли с той же скоростью, что и девушки.— Давай что-нибудь говори.

— А что говорить? — спросил я.

— Неважно что, лишь бы громко.— И тут же повисил голос:— Ничего себе крали идут, а?

— Ничего,— сказал я еле слышно.

— Громче,— шепнул Толик и снова во весь голос:— Тебе какая больше нравится?— И, не дождавшись моего ответа, почти прокричал:— Мне крайняя... Что ж ты молчишь? — снова прошептал он.

Видно поняв, что со мной каши не сварить, он стал вести игру сам.

— Девушки, вы здешние? — спросил он.

Девушки молча свернули направо.

— Гляди, — громко воскликнул Толик, — попутчицы! Мы свернули следом за девушками. Тогда они неожиданно развернулись и пошли в обратную сторону.

— Куда мы, туда и они, — бодро прокомментировал этот маневр Толик, и мы, пропустив их вперед, опять пошли следом.

Наше преследование кончилось безрезультатно. Возле главного входа девушек ждали двое парней. Когда они шагнули навстречу девушкам, мы с Толиком сделали по шагу в обратном направлении. Физическое превосходство парней было очевидным.

— Ну что, теперь погонимся за другими? — спросил я удрученно.

— Зачем гоняться? — сказал Толик. — Пускай они за нами гоняются. Вои на лавочке две сидят, пойдем с ними поговорим.

— Да ну их! — сказал я. — Бегаем, как дураки, по всему парку, а толку чуть.

— Ну, пошли, сейчас познакомимся.

— Как же, познакомимся, — усомнился я.

— Точно тебе говорю: познакомимся. Пошли.

— Ну, ладно, пошли, — сказал я.

Толик обрадовался:

— Ты себе какую берешь?

— Никакую, — сказал я сердито.

— Ну, ладно, я себе беру блондинку, а твоя будет рыжая. Ты рыжих любишь.

Я и сам не знал, каких я люблю.

Наши очередные жертвы, ни о чем не подозревая, сидели на лавочке и разговаривали.

— Здравьете, — сказал Толик.

— До свиданья, — сказала блондинка.

— Спасибо, — сказал Толик и сел рядом с блондинкой. — Прощу вас, — пригласил он меня.

Я подчинился и сел рядом с рыжей.

— Знакомьтесь, — сказал Толик, кивая в мою сторону, — мой друг Валерий, очень большой человек, лауреат

Международной премии за укрепление мира между народами.

— А вы кто? — с любопытством спросила блондинка.

— Я поэт Евтушенко, — сказал Толик скромно.

— А я думала: Маяковский, — сказала блондинка.

— Маяковский — это он.

— А если серьезно? — спросила блондинка.

— А если серьезно... — Толик встал и представил меня и себя: — Валерий Важенин, Анатолий Божко.

Это прозвучало солидно. Довольный произведенным впечатлением, Толик сел на место и уже тихим, вкрадчивым голосом спросил:

— А вас как прикажете?

— Ее Поля, — сказала блондинка, — а меня... вы только не подумайте, что я нарочно... — так у нас получилось... меня зовут Оля.

— Очень хорошо, — сказал Толик, — запомнить легко, а забыть еще легче. Ну что, Оля и Поля, может, пойдем туда-сюда, пошляемся?

— Что это вы так говорите? — подала голос Поля. — Что это за слова такие — «пошляемся»?

— Это я по-французски, — оправдался Толик. — В смысле погуляем.

Поля посмотрела на Олю.

— Мне все равно, — сказала Оля.

— Может, пойдем потанцуем? — спросила Поля.

— Блестящая идея, — согласился Толик.

Мы встали, пошли. Запас шуток у Толика истощился, некоторое время мы шли молча. Молчание грозило стать затяжным, и Толик нашел выход из положения.

— А что это мы идем и молчим? — сказал он. — Может, поговорим о чем-нибудь?

— А о чем? — деловито спросила Оля.

— Мало ли о чем. Валера, расскажи девочкам стих. Вот этот... про дерево.

— А вы любите книжки читать? — заинтересовалась Поля.

Я смутился.

— Да так. Иногда.

— Я книжки ужасно люблю, — сказала Поля. — Особенно жизненные. Вот я недавно прочла «Сестру Керри».

— Драйзера. — Я проявил эрудицию.

— Не знаю. Так там мне больше всего понравилось, что все, как в жизни. Когда я жила в Днепропетровске, у нас была одна соседка, капля воды — сестра Керри. А еще недавно я читала «Красное и черное»...

— Стендаля, — подсказал я.

Поля остановилась и посмотрела мне прямо в глаза.

— Учтите, Валера, — строго сказала она, — я авторов никогда не запоминаю.

— Мальчики, а билеты у вас есть? — вдруг вспомнила Оля.

— В самом деле, — сказал я и посмотрел на Толика.

Толик похлопал себя по карману и сделал кислую рожу.

— Так надо купить, — сказала Поля.

— Правильно, — обреченно сказал Толик.

— Может, у вас нет денег?

— У нас? — Толик скривился презрительно. — У нас денег мешок. Валера, отойди на минутку. — Мы отошли с ним в сторону. — У тебя хоть что-нибудь есть?

— Тридцать копеек.

— Это не деньги, — сказал Толик. — Это слезы. Посиди пока с ними, чтоб не сбежали. Я скоро вернусь.

Он ушел, а я остался. Говорить было не о чем, мы молчали. Первой заговорила Оля.

— Жарко сегодня, — сказала она, вытирая шею платочком.

— Да, действительно жарко, — согласился я. — Может, хотите воды?

Надо было как-то растянуть время.

— Лучше мороженое, — робко сказала Оля.

— Эскимо? — бодро уточнил я и потрогал в кармане свои тридцать копеек.

— Пломбир, — возразила Поля.

В этот момент я ее ненавидел. Мы встали в хвост длинной очереди за толстой теткой в цветастом открытом платье. Не знаю, на что я рассчитывал. Может, на то, что, пока подойдет очередь, появится Толик. Или разразится стихийное бедствие.

Очередь двигалась довольно быстро. Небо было чистое, звездное. Стихийного бедствия пока не предвиделось. Что делать? Может, просто сбежать? Очередь катастрофически приближалась. Спасение пришло неожиданно.

— Смотрите,— сказала вдруг Поля.— Спутник летит.

— Где спутник? — спросил я, выходя на всякий случай из очереди.

— Вон, прямо над головой, смотрите.

Я отошел еще дальше.

— Нет, это не спутник,— сказал я,— это самолет.

— Откуда вы знаете? — не поверила Оля.

— Во-первых,— сказал я,— это можно определить по шуму двигателей. Во-вторых, по огням. Они называются «БАНУ» — бортовые аэронавигационные огни.

— Вы что,— сердито спросила Поля,— все знаете?

— Не все,— сказал я,— но это знаю. В школе я занимался в авиамodelьном кружке, и мы там кое-что проходили.

— Братцы,— сказала Оля,— очередь-то мы пропустили.

— Неужели? — всплеснул я руками.

И в самом деле. Тетка в цветастом платье, которая стояла впереди меня, отходила в сторону, торжественно, как факел, неся перед собой эскимо на палочке.

— Все ваша эрудиция,— упрекнула Поля.

— Ну, ничего, постоим,— сказал я в расчете на то, что теперь нам мороженого просто не хватит.— Время у нас еще есть.

— Какое же время? — сказала Оля.— Вон ваш товарщик уже идет.

Наконец-то! Беспечно размахивая транзистором, к нам приближался Толик.

— А если вы все знаете,— не унималась Поля,— скажите, это правду говорят, что дельфины — мыслящие существа?

— Чего? — спросил подошедший Толик.

Поля повторила вопрос.

— Не думаю,— сказал Толик.— Если б они были мыслящие, они бы в трусах плавали.

Мы пропустили девочку вперед, а сами немного отстали.

— Достал? — шепотом спросил я у Толика.

— Достал два билета,— сказал Толик,— толкнул частнику подшишник за рубль.

— Что же делать?

— Придумаем что-нибудь... Девочки,— сказал он,

подходя к Оле и Поле,— вот вам два билета, вы идите, а мы сейчас придем. У нас тут еще одно небольшое дельце есть.

— Что это у вас все дела какие-то? — недоуменно сказала Поля, но билеты взяла.

Они ушли, а мы остались. Играла музыка. Над освещенной, забитой людьми танцплощадкой стояла пыль.

— Ну что ты еще придумал? — спросил я у Толика.

Мне это уже все надоело, я бы с удовольствием ушел домой, чтобы, лежа на диване, подремать над какой-нибудь книжицей.

— Пойдем через служебный вход,— сказал Толик.— Больше делать нечего.

Возле оркестрового купола в заборе, ограждающем танцплощадку, кто-то выломал железные прутья, получилась дыра, не очень большая, но для нас с Толиком в самый раз. Эту дыру Толик и называл служебным входом. Возле дыры, опершись на забор, стояли два парня в одинаковых синих рубашках, здоровые и плечистые, должно быть спортсмены. Они о чем-то между собой разговаривали.

— Ребята, милиции нет? — деловито спросил Толик.

Парни перестали разговаривать, повернулись к нам.

— А что, пролезть хотите? — с любопытством спросил тот, который загоразивал дыру.

— Может быть,— уклончиво сказал Толик.— А что?

— Да ничего,— парень подвинулся к своему товарищу, освобождая дыру.— Откуда тут милиция? Валяйте.

— Как бы не вляпаться,— засомневался Толик.

— Как хотите,— сказал парень,— мы вот не вляпались.

Толик посмотрел на парней, потом на меня.

— Ну, ладно,— решил он,— давай, Валера, ты первый, а я за тобой.

Только я пролез на ту сторону и разогнулся, как сразу заметил красную повязку на рукаве парня, стоявшего возле дыры.

— Вот и хорошо,— сказал парень. Он сжимал мою руку повыше локтя так сильно, что я понял: вырваться бессмысленно.

Толик сразу все сообразил и отпрянул от забора.

— Так вы дружинники,— сказал он укоризненно.

— Так уж получилось,— сказал тот, что держал меня за руку.— Чего ж ты не лезешь?

— В другой раз,— пообещал Толик.

— Ну, смотри, дело твое,— сказал дружинник и обратился к своему товарищу: — Пойдем, что ли?

— Пойдем,— сказал тот, почесывая затылок. Ему, видно, очень не хотелось со мной возиться.

— Пошли,— сказал тот, что держал меня за руку.

— Пусти руку,— сказал я,— тогда пойду.

— А не побежишь?

— Не бойся,— успокоил я,— не побегу.

Пробираясь между танцующими, я столкнулся с Олей и Полей. Они танцевали вдвоем.

— Валера,— обрадовалась Оля.— А Толя где?

— Сейчас я его найду,— сказал я.

— Вы не ждите,— сказал дружинник,— он его долго будет искать.

Мы вышли с танцплощадки и направились по аллее к выходу.

Сзади на почтительном расстоянии двигался Толик.

— Ты, может, с нами хочешь? — обернулся дружинник.

— А чего это мне с вами идти? Я через забор не лез,— сказал Толик.— Валера, что матери передать, если на долго задержат?

— Ничего,— сказал я сердито.

— Валера, ты на меня не сердись. Если бы я первый полез, они сдавали бы меня.

— А почему же ты не полез первым?

— Кому-то же надо быть первым. А теперь что ж — нам двоим пропадать?

— Ну и сволочь у тебя дружок,— заметил дружинник, шедший ближе ко мне.— Возьми его тоже,— сказал он своему товарищу.

— Иди сюда,— сказал второй дружинник и сделал шаг к Толику.

— Сейчас, разбежался,— сказал Толик и на шаг отступил.

— Догоню ведь,— сказал дружинник и сделал еще один шаг.

— Как же, догонишь,— сказал Толик, отступая к кустам.— У тебя по бегу какой разряд?

— Черт с ним,— сказал тот, что был возле меня.— Хватит нам на первый раз одного.

— Ты можешь теперь пойти на танцы,— сказал я Толику.— Дырка свободна.

— Ладно, — оборвал дружинник,— хватит разговаривать. Пошли.

Дежурный по отделению милиции, молодой белобрысый сержант, при моем появлении не проявил ни малейшего удовольствия.

— Вы еще мне танцоров будете водить,— сказал он дружинникам.— Дали бы под зад пинка — и пускай себе катится на все четыре. А теперь протокол на него составлять, начальству докладывать.

— Мы еще одного хотели взять,— сказал дружинник, приведший меня,— да он убежал.

— Ладно, идите,— сержант недовольно махнул рукой.— А ты садись на скамейку, посиди.

Я сел на желтую, с облупившейся краской скамейку, а дружинники все еще стояли переминаясь перед барьером, отделявшим их от дежурного.

— Ну, чего стоите?— сказал дежурный.— Сказано вам: свободны.

Они-то, наверное, думали, что им вынесут благодарность за их выдающийся подвиг. Обиженные, они повернулись и направились к выходу.

Сидевший на табуретке у входа толстый милиционер в надвинутой на глаза фуражке посторонился, дружинники вышли.

— Так, может, я пойду, если я вам не нужен,— сказал я и встал.

— Отдохни пока,— сказал дежурный и обратился к стоявшей перед ним девице примерно моего возраста, а может, чуть-чуть постарше:— Так как твоя фамилия?

Девица стояла, положив руки и подбородок на барьер, и смотрела на милиционера преданными глазами.

— Иванова,— сказала она охотно.

— А может, Петрова?

— Может, Петрова,— согласилась девица.

— А правильно как?

— Правильно Иванова.

— Ты где-нибудь работаешь?

— Нет. Работала в столовой, потом уволили по сокращению. На самообслуживание перешли.

— В какой столовой?

— В какой столовой-то? Ну, в обыкновенной столовой. Знаете, где едят.

— Ты мне голову не морочь. Номер столовой?

— А я чего-то не припомню.

— И где находится, не помнишь?

— Нет.

— Ну, хорошо. А родители у тебя есть?

— Нет.

— А у кого ты живешь?

— У тетки.

— А как фамилия тетки?

— Иванова.

— А зовут как?

Девушка перевела взгляд с сержанта на меня, потом опять на сержанта, пожала плечами и вздохнула.

— Не помню.

Сержант вздохнул тоже.

— Ну, хорошо. А где живет твоя тетка?

— А она не живет. Она померла.

Дежурный вышел из себя.

— Слушай, что ты мне голову морочишь! Вот сядь здесь и сиди до утра. Начальник придет, он сам с тобой будет разговаривать.

— Как же сидеть?— возмутилась девушка.— Мне на троллейбус надо и спать охота.

— Здесь поспишь. Ну-ка, танцор, подойди сюда.

Я подошел.

— Как фамилия?

— Важенин.

— Зовут?

— Валерий.

— Где работаешь?

— В почтовом ящике.— Я решил напустить туману.

— Что ж ты, ящик, без билета на танцы лазишь? Денег нет? — Я промолчал.— Раз денег нет — сиди дома. А теперь будешь здесь сидеть. До утра. А утром к судье — и на пятнадцать суток. Понял? Вот. Садись... Крошкин, — сказал он толстому милиционеру, — ты тут погляди за ним. Я сейчас вернусь.

Сержант ушел.

Девушка сидела на лавочке, обхватив руками колени и глядя в пол. Когда я сел рядом, она быстро вскинула на меня глаза и снова опустила их к полу. Я исподволь к ней пригляделся. Белевская такая, с красивыми ногами. Глаза у нее, насколько я успел заметить, были большие, темные, только слишком подкрашены в уголках. Темная юбка в обтяжку слегка открывала круглые колени.

— Тебя правда Валеркой зовут?— шепотом спросила девушка.

— А что ж я — врать буду?— ответил я тоже шепотом.

Она убрала руки с колен и подвинулась ко мне вплотную.

— А я им все вру,— сказала она.— Им хоть правду говори, хоть неправду — все равно не поверят, так я вру нарочно, пускай работают, пишут свои протоколы. Или вообще не говорю ничего. Спрашивает: «Как зовут?» А я говорю: «Не помню». — «Что, говорит, тебе память отшибло?» А я говорю: «Не отшибло, а я такая и родилась беспамятная». Ну, он злится! А вообще-то меня Татьяной зовут.

— «Итак, она звалась Татьяной...»

— Чего это ты сказал?

— А это стихи такие,— сказал я.

— Стихи? — переспросила она мечтательно.— Я стихи ужас как люблю. Прямо до смерти.— И прочла, откинув в сторону правую руку: — «Вино в бокале надо пить, пока оно играет, жизнь дана, надо жить, двух жизней не бывает».

Милиционер на табуретке очнулся, сдвинул фуражку на затылок, посмотрел на Татьяну.

— Ты чего? — спросил он зловеще.— Самодеятельность устраиваешь?

— Проснулся? — обрадовалась она.— С добрым утром, дядя. Физкультпривет!

— Я вот тебе дам физкультпривет,— лениво проворчал милиционер.

— Какой сердитый,— скривила губы Татьяна.— Тебя что, работа испортила?

— У меня работа нормальная,— сказал милиционер.— Не то что у тебя.

— А сколько тебе платят за твою работу, а?

— С меня хватает.

— Я вижу, что хватает. Небось, когда здесь по коридору идешь, ушами за стенки цепляешься.

— Замолчи! — повысил голос милиционер.

— А чего мне молчать-то? Свобода слова. Понял? Чего хочу, то говорю.

— Замолчи, а то встану, — сказал милиционер. И встал.

— Ну, чего встал? — Татьяна тоже встала. — Думаешь, я тебя испугалась, да? Да мне на тебя плевать. Тьфу!

Милиционер двинулся к ней. Я вжался в стенку. Сейчас что-то будет. Татьяна, протянув вперед руки с растопыренными пальцами, продолжала дразнить приближавшегося к ней милиционера.

— Ну, подойди сюда, — перешла она на завораживающий полусшепот. — Подойди, бегемот проклятый, подойди еще. А-а-а! — закричала она неожиданно пронзительным голосом, вскочила на лавку и прижалась спиной к стене.

— Чего орешь? — растерялся милиционер.

— А что, испугался? — Татьяна заплясала на лавке. — Чего ору, да? А вот хочу и ору. А-а-а! — закричала она еще пронзительней.

Расстегивая на ходу кобуру револьвера, вбежал дежурный сержант. Остановился посреди комнаты.

— В чем дело? — спросил он, переводя взгляд с Татьяны на милиционера.

— Спроси у нее! — Милиционер отошел к своей табуретке, сел и снова закрыл глаза козырьком.

— Чего вопила? — спросил с любопытством сержант у Татьяны.

Татьяна села на место, оправила юбку, сложила руки между колен и сказала жалобно:

— Сержант, он меня изнасиловать хотел.

— Тебя? — насмешливо переспросил сержант.

— Меня, — сказала она еще жалобней и для убедительности шмыгнула носом. — Вот, пожалуйста, свидетель сидит, — показала она на меня. — Он может подтвердить.

— Бедная ты, — сказал сержант, заходя за свою загородку. — Несчастливая. Беззащитная. — И стукнул неожиданно кулаком по столу. — Будешь у меня тут хулиганить — я тебя живо на пятнадцать суток оформлю. Ясно?

— Ясно, — покорно согласилась Татьяна.

Зазвонил телефон. Сержант снял трубку.

— Дежурный по отделению милиции слушает,— сказал он в трубку.— Да. Алкоголики? Ну, ладно, поместим где-нибудь. Я думаю, им отдельной жилплощади не требуется? — Он повесил трубку, раскрыл какую-то книгу и отметил в ней что-то.

— Сержантик,— ласково сказала Татьяна,— отпусти меня домой, а? А то я на последний автобус опоздаю, тетка волноваться будет.

— Тетка, которая померла? — поинтересовался он.

— Да она не то чтобы померла, а так — и померла, и не померла, и живет еще.

— Отпустить ее, что ли? А, Крошкин? — обратился сержант к толстому милиционеру.

— Крошкин,— попросила Татьяна,— Крошечка, скажи, пусть отпустит.

— А ты чего обзывалась? — обиженно сказал Крошкин.

— Да я ж пошутила! Я просто так. Характер у меня дурной. Тетка говорит: «Тебя с таким характером ни один дурак не возьмет замуж».

— Ладно, пусть идет,— махнул рукой сержант.

— Пусть идет,— согласился Крошкин. Отодвинулся, освобождая проход, и снова закрыл глаза козырьком.

— Вот спасибо! — Татьяна вскочила и направилась к выходу. Обернулась:— Спасибо, сержантик. И тебе спасибо. Слышь, Крошечка,— она постучала пальцем по козырьку.

— Иди,— махнул рукой Крошкин.

— И больше не попадайся,— добавил сержант.

— В ваше отделение,— сказала Татьяна,— ни за что в жизни.

Мы остались втроем. Сержант посмотрел на меня.

— Ну, а с тобой, орел, что будем делать?

Я пожал плечами:

— Дело ваше.

— Ладно,— сказал он весело,— я сегодня добрый. Валяй и ты.

Я не заставил себя долго упрашивать.

Татьяна стояла на улице. Она рассматривала приткнувшиеся к бордюру тротуара милицейские мотоциклы. Увидев меня, обрадовалась, как родному.

— Ой,— сказала она, разведя руки в стороны,— тебя тоже выпустили? А я так и знала, что выпустят. Куда ж им нас девать? Некуда. Тебе куда идти?

— Некуда,— ответил я в тон ей.

— Как некуда? — всполошилась она.— Тебе что, негде почевать? — она подошла ко мне ближе и посмотрела прямо в глаза.

— Что ты,— поспешно сказал я,— я пошутил. У меня все есть. У меня есть квартира с мамой, бабушкой и швейной машинкой.

— Да? — сказала она разочарованно.— А где ты живешь?

Я сказал. Она вздохнула.

— Тебе близко. А мне аж за Дворец переть. Автобусы спатки легли.

— Пошли, провожу,— предложил я.

— Далекое ведь.

— Ничего,— сказал я беспечно.

Она взяла меня под руку, и мы пошли. Никогда до этого я не ходил под руку с девушкой. На улице было тепло и тихо. Шелестели листья на ветках деревьев. По улицам только что прошли поливальные машины, и звезды отражались неясно на мокром асфальте.

Мы шли рядом. Я посмотрел на нее сбоку и засмеялся.

— Ты чего смеешься? — спросила она удивленно.

— Вспомнил, как ты Крошкина воспитывала,— сказал я.

— А! — она засмеялась тоже.— Здорово я ему выдала. Вообще-то он ничего, толстячок потешный. Правда?

— Правда,— сказал я, остановился и посмотрел на нее.— Послушай, а за что тебя забрали в милицию?

— А ты разве не понял? — тихо спросила она.

— Не понял.

Она выпустила мою руку, отошла в сторону и сказала вызывающе:

— За легкое поведение.

— Правда? — спросил я упавшим голосом.

— Конечно, правда.

Она опять оживилась, схватила меня за руку, и мы пошли дальше.

— Понимаешь, я с мальчишкой одним на лавочке целовалась. Я вообще-то целоваться не люблю. А он при-

стал ко мне, прямо чуть не плачет. А у меня характер такой дурной: жальливая я очень. Думаю: «Ну, если ему так нужно, что мне, жалко, что ли? Не убудет ведь меня. В крайнем случае потом умоюсь». А тут этот Крошечка. «Вы чем, говорит, занимаетесь в общественном месте?» А я говорю: «Не твое дело, проходи себе стороной». А он говорит: «Ах, не мое дело!..» И свисток в зубы. А я говорю: «Выплюнь ты этот свисток, он заразный». Мальчишечка-то убежал, а мне бежать не на чем, у меня и так каблук еле держится. А ты думаешь, я правда нигде не работаю? Это я им нарочно сказала. А я вообще-то работаю в парикмахерской. Вот приходи, я тебе любую стрижку сделаю, польку молодежную, польку простую, канадскую, бокс, полубокс, что хочешь. У нас работа художественная. Наш бригадир говорит: «Парикмахер — все равно что скульптор. Он из обормота произведение искусства делает».

На пустыре было тихо и темно. Неуклюжая громада Дворца, освещенная единственной лампочкой, мрачно темнела на фоне звездного неба и косилась на нас пустыми проемами окон.

— Страшный какой, — сказала Таня. — Кто ж, интересно, будет в таком жениться?

— Может, мы с тобой, — пошутил я.

— Не надо насмехаться, — строго сказала Таня.

Пустырь сразу переходил в широкую улицу. Потом мы пересекли площадь, прошли еще немного вперед и повернули направо, в темный глухой переулок, в конце которого горел фонарь на столбе. Мы до этого фонаря не дошли и остановились возле крупнопанельного пятиэтажного дома. Было только половина первого, но ни одно окно в доме не светилось, все подъезды тоже были темны.

— Как в войну во время затемнения, — сказал я.

— А откуда ты знаешь, как было в войну? — спросила она.

— Я не знаю, мне рассказывали, — сказал я, — а потом еще я видел кино.

— Чего-то я к тебе за какой-нибудь час так привыкла, — грустно сказала она. — Как будто сто лет тебя знаю. Даже расставаться не хочется.

Я подумал, что она врет, но все равно было приятно.

— Мне тоже не хочется,— сказал я.

— Может, еще погуляем? — спросила она.

Легко сказать — погуляем. Мама с бабушкой, наверно, уже сходят с ума, обзвонили уже все милиции, больницы, «скорую помощь» и бюро несчастных случаев. Я постеснялся ей это сказать, я сказал:

— Не могу. Мне на работу рано вставать.

Она поежилась то ли от холода, то ли просто так.

— На работу? Мне вообще-то тоже. Ну, ладно, пока.

Она издали протянула мне руку. Рука у нее была маленькая и холодная.

— А когда мы с тобой встретимся? — спросил я.

— Никогда.— Она вырвала руку и скрылась в темном подъезде.

Я постоял немного на улице, потом тоже вошел в подъезд. Ничего не было видно. Я нащупал рукой шершавую полоску перил и остановился, прислушался, услышал ее шаги. Она тихо, словно крадучись, поднималась по лестнице. Я думал: сейчас откроется дверь, и я на слух определю, на каком этаже она живет. Сейчас она была, как мне казалось, на третьем. Пошла выше. Четвертый. Еще выше. Значит, она живет на пятом. Остановилась. Сейчас откроется дверь. Не открывается. Я посмотрел наверх. Ничего не было видно, только чуть обозначенное синим окно на площадке между третьим и вторым этажами. Может, Татьяна тоже пытается разглядеть меня и не видит? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я ступил на первую ступеньку лестницы. Потом на вторую. Тихо-тихо, ступая на носках, я поднимался по лестнице. Вот и пятый этаж. Лестница кончилась. Татьяна была где-то рядом. Я слышал, как она прерывисто дышит. Я вытащил из кармана спички и стал ломать их одну за другой, потому что они никак не хотели загораться. Наконец одна спичка зашипела и вспыхнула, и я увидел Татьяну. Испуганно прижавшись к стене, она стояла в полушаге от меня и смотрела не мигая. Потом ударила меня по руке, и спичка погасла. Потом она обхватила мою шею руками, притянула к себе и прижалась своими губами к моим.

Я позабыл о маме, о бабушке, о себе самом.

Вдруг она громко зашептала:

— Убери руки, обижаться буду! Руки! — она резко меня оттолкнула.

Я зацепил погой мусорное ведро, оно загремело.

— Тише! — шепнула она.

Глаза мои привыкли к темноте, в слабом свете, проникавшем сквозь окно на площадке между этажами, я различал смутно ее лицо. По-моему, она усмехалась. Усмехалась потому, что я дышал, как загнанная лопадь, и ничего не соображал.

— Ты что, сумасшедший? — спросила она.

— Нет, — сказал я, переводя дыхание.

— А чего ж ты?

— Чего «чего»?

— Чего руки распускаешь, говорю? — сказала она громко.

Я не знал, что ответить.

— Ты всегда так делаешь? — спросила она уже тише.

— Всегда! — я рассердился и полез в карман за сигаретами.

— Дай закурить, — сказала Тапя.

— А ты разве куришь?

— А как же!

Прикуривая, она смотрела на меня с любопытством. Я поспешил прикурить сам и погасил спичку. Некоторое время курили молча. Потом она спросила:

— Ты раньше с кем-нибудь целовался?

— Всю жизнь только этим и занимаюсь.

— Что-то не похоже, — усомнилась она.

— Почему?

— Почему? — она затаилась и пустила дым прямо мне в нос. — Не умеешь. Хочешь, научу?

Я ничего не ответил. Она взяла у меня окурки и вместе со своим бросила в лестничный пролет. Окурки, ударяясь о ступеньки и рассыпая бледные искры, полетели зигзагами вниз, то встречаясь, то расходясь, и пропали.

— Ну, учись, — сказала Татьяна и пригнула меня к себе.

Назавтра мы договорились встретиться слова. В восемь часов возле универмага.

Приближалось утро, небо бледнело, на улицы вышли дворники и громко шаркали метлами.

Пустырь я пересек напрямую и вышел к площади Победы. За площадью свернул на бульвар и пошел по аллее.

Редкие фонари рассеивали конусы света, на темных скамейках блестела роса.

Я шел не торопясь. Торопиться мне, собственно говоря, было уже просто некуда. Бабушка с мамой, конечно, обегали все, что можно обегать ночью, и теперь сидят при свете, ждут. Приду — будут попрекать, будут демонстративно глотать сердечные таблетки и капли. Хоть совсем не приходи.

Потом я услышал какие-то голоса и смех и посмотрел вперед. Впереди меня под фонарем расположилась группа каких-то людей. Они сдвинули вместе две скамейки, некоторые сидели на этих скамейках, а те, кому не хватило места, стояли.

Я несколько сбавил шаг и стал смотреть себе под ноги. Потом нашел кусок кирпича, хотел положить его в карман, но в карман он не влез, я прижал его к бедру и пошел немного правее, подальше от скамейки, на всякий случай. Мало ли чего может случиться, когда на улице нет ни милиции, ни прохожих — никого, кроме меня и этих парней.

О чем они разговаривали между собой, я не слышал, но, когда я поравнялся с ними, они замолчали и уставились на меня. Я этого не видел, но чувствовал. Я шел напрягшись и держал кирпич так, чтобы его не было видно.

— Валерка! — услышал я знакомый голос и обернулся. Ко мне приближался Толик.

И я сразу вспомнил двор школы, турник, тренирующихся парашютистов и приказ инструктора в кожаной куртке собраться в три часа ночи на бульваре у кинотеатра «Восход».

Я незаметно бросил кирпич в кусты.

— Ты откуда? Из милиции, что ли?

— Из санатория, — сказал я сердито. Я никак не мог простить ему, что он ушел, когда дружинники тащили меня в милицию.

— Ну, я так и знал, что до утра выпустят, — сказал Толик. — У них и без тебя работы хватает.

— Ну да, — сказал я, — ты все знал заранее. А чего ж тогда ты со мной не пошел?

— А зачем нам вдвоем идти? — сказал Толик. — Тебе разве легче было бы, если б меня тоже забрали?

— Морально легче,— сказал я.— Вместе лезли, вместе падо и отдуваться. Я на твоём месте ни за что не ушел бы.

— Ну и зря,— сказал Толик.— Зря не ушел бы. Ты прыгать будешь?

— Ну да, прыгать! — сказал я.— Ты-то выспался, а я из-за тебя всю ночь глаз не сомкнул.

— А я, думаешь, спал? — обиделся Толик.— Я этих провожал. Как их? Олю и Полю.

— Ну и что? — спросил я.

— Да ничего. Они в общежитии живут. Я хотел с Олей в подъезде постоять, а эта зараза рыжая тоже стоит, не уходит. Ну, я плюнул и ушел. Поехали, а?

— Да я не знаю,— заколебался я.— Мать волноваться будет.

— Не будет,— сказал Толик.— Она ко мне приходила в час ночи, я сказал, что ты поехал к товарищу за книжками для института и останешься у него ночевать.

В это время из-за угла выехал микроавтобус с включенными подфарниками. Он остановился как раз напротив скамеек. Из него вылез знакомый уже нам инструктор и, сложив ладони рупором, весело закричал:

— Эй, парашютисты, вали все сюда!

Все парашютисты кинулись прямо через газон к машине.

— Ну что, ты едешь или не едешь? — нетерпеливо спросил Толик.

— Да я не знаю,— сказал я. Я все еще колебался.

— Ну, как хочешь,— сказал Толик и побежал к машине.

— А, была не была! — сказал я и побежал вслед за ним.

Дорога была длинная. Мы проехали весь город, выехали на шоссе, потом свернули на проселочную дорогу и еще долго ехали по ней. Когда приехали на аэродром, было уже совсем светло.

Аэродром был аэроклубовский. На нем не было, как я себе представлял раньше, бетонных дорожек или стеклянных ангаров — просто клочок поля с выгоревшей травой, два небольших домика и несколько белых цистерн с бензином, врытых наполовину в землю.

Маленькие зеленые самолетики (потом я узнал, что они называются «ЯК-18») взлетали, садились, рулили по земле, таща за собой хвосты желтой пыли. По полю взд и вперед сновали какие-то люди в комбинезонах.

Наш микроавтобус подъехал к одному из домиков, над крышей которого болтался полосатый мешок.

Инструктор первый вылез из кабины и встал возле дверцы.

— Вылезайте да побыстрей,— скомандовал он.

Парашютисты стали по одному выпрыгивать из машины, а инструктор считал:

— Раз, два, три, четыре...

Пятым из машины вылез я.

— А ты встань сюда,— инструктор показал мне место рядом с собой.— И ты тоже,— сказал он вылезшему из машины Толику. Пересчитал остальных. Скомандовал: — В колонну по два становись! Равняйся! Смирно! Шагом марш вон к тому самолету.— Он показал на самолет, который стоял отдельно от других. У него на фюзеляже был нарисован такой же, как на куртке инструктора, парашютный значок.

— А мы как же? — растерялся Толик.

— Как хотите,— сказал инструктор.— У меня вас в списках нет.

Мы остались одни.

— Дурачок какой-то,— укоризненно сказал Толик, глядя вслед удаляющемуся инструктору.— Раньше не мог сказать.

— А он нарочно завез нас, хотел проучить,— сказал я.

— Я и говорю: дурачок.— Вид у Толика был виноватый.— Может, такси где поймаем? У меня деньги есть. Я у отца трешку свистнул.

— Какое уж тут такси! — безнадежно сказал я.

Я достал сигареты, дал Толику, взял себе. Пробегавший мимо человек в комбинезоне сказал:

— Ребята, здесь курить нельзя. Там за домом курилка.

За домиком вдоль стены тянулась длинная, врытая в землю скамейка, перед ней железная бочка, тоже врытая в землю и наполненная наполовину водой. Вода была мутная, в ней плавали жирные, размокшие окурки. На краю

скамейки сидели два летчика. Один — лет тридцати, маленький, коренастый, черный, как жук. На нем были широкие брюки и бежевая куртка на молниях. Из-под белого подшлемника выбивалась на лоб аккуратно подстриженная челочка. Другой был постарше, повыше, рыжий, с белыми глазами, как у альбиноса. Мы с Толиком сели с другого края.

Летчики не обратили на нас никакого внимания, они вели между собой какой-то странный, непонятный мне разговор.

Белоглазый жаловался:

— Выходит, курсант сломал ногу, а ты должен за него отвечать.

— А как он сломал? — спросил черный. — Ткнулся на три точки?

— Если б на три! А то как шел носом, так и воткнулся.

— И что, ничего теперь с ногой сделать нельзя?

— Черт ее знает! Отдали пока в ПАРМ, может, там сварят. А не сварят — придется новую ставить. А за новую вычтут из зарплаты.

— Это уж точно, — вздохнул черный. — У меня в прошлом году курсант фонарь в воздухе потерял, и то два месяца высчитывали, а это же нога...

Он встал и швырнул в бочку окурочек. Белоглазый тоже встал и свой окурочек раздавил каблуком.

Они ушли.

Впереди нас, немного левее, белели наполовину врытые в землю большие цистерны. Они были огорожены колючей проволокой. Между двумя цистернами стоял маленький черный ишак, запряженный в двухколесную тележку, на которой лежала железная бочка. И маленький человек в грязном комбинезоне при помощи ручного насоса перекачивал что-то не то из цистерны в бочку, не то из бочки в цистерну.

— А я эту Олю вчера поцеловал, — неожиданно похвастался Толик. — Мы стояли в подъезде, а рыжая пошла к себе воды попить. А я Олю к батарее прижал и — чмок, прямо в губы. А она ничего, только говорит: «Не надо, Толя, мы еще мало знакомы». А я говорю: «Так будем больше знакомы». И тут эта рыжая снова приперлась и

помешала.— Толик с видом явного превосходства посмотрел на меня.

— Подумаешь,— сказал я.— Я всю ночь целовался.

— С милиционером?

— Зачем с милиционером? С девчонкой. Вчера познакомился.

— Где познакомился? — Толику никак не хотелось в это поверить.

— В милиции,— сказал я.

— Не заливай!

— Не веришь — не надо,— сказал я и снова стал следить за человеком в грязном комбинезоне.

Человек перестал качать насос. Сложил шланг, после чего залез на бочку и пнул ишака сапогом. Ишак покорно тронулся и, миновав узкий проход в колючей проволоке, побрел в сторону стоянки самолетов, таща за собой двуколку с железной бочкой, на которой крупными белыми буквами было написано: «М а с л о».

— Слышь,— не выдержал Толик,— а что за девчонка? Красивая?

— Красивая,— сказал я.

— А зовут как?

— Таня.

Я не хотел рассказывать ему, но он пристал как баный лист: как выглядит да сколько лет, и я постепенно ему все рассказал. Тогда Толик подумал и сказал с облегчением:

— А, я ее знаю!

— Откуда? — удивился я.

— Да ее все знают,— сказал Толик.— Она с Козубом путалась.

— Кто это тебе говорил? — не поверил я.

— Козуб. Да я и сам сколько раз видел их вместе.

— Мало ли чего ты видел! Может, это вовсе и не она.

— Да как же не она? — сказал Толик.— Все сходится: Татьяна, работает парикмахершей. Она за Дворцом живет?

— Нет, не за Дворцом,— соврал я. Продолжать этот разговор мне не хотелось.

Далеко над опушкой леса на большой высоте кружился

самолет. Он делал всевозможные фигуры: петли, бочки, иммельманы, то падал вниз камнем, то свечой взмывал вверх и терялся за легким облачком.

Из-за домика вышел белобрысый паренек в комбинезоне, подпоясанном армейским ремнем. Под ремнем болтался шлемофон с дымчатыми очками. В руках у него было ведро, в ведре лежала какая-то часть мотора, болты, гайки. Я сначала не обратил на парня никакого внимания, потому что следил за самолетом.

— Во дает! — восхитился Толик. — Вот бы на нем прокатиться. Скажи?

Я не ответил.

Паренек достал из кармана комбинезона сигареты, спички, закурил.

— Смотри, смотри, штопорит! — закричал Толик.

— Не штопорит, а пикирует, — поправил парень.

— Да? Пикирует? — усомнился Толик. Он осмотрел парня с ног до головы, задержал взгляд на шлемофоне с очками и спорить не стал.

Я тоже посмотрел на парня и вдруг узнал:

— Славка!

Славка недоуменно посмотрел на меня и тоже просиял:

— Валерка! Ты что здесь делаешь?

— Да ничего. Толик, познакомься: это Славка Перков, мы с ним в школе вместе учились.

Толик не спеша протянул Славке руку и со значением представился:

— Толик.

— А ты здесь что делаешь? — спросил я.

— Вообще то же, что и все, — сказал Славка. — Летаю.

— Как летаешь? — не понял я.

— Ну как летаю — обыкновенно. Я же в аэроклубе учусь. Ты разве не знал?

— Первый раз слышу.

— Вот тебе на, — Славка даже присвистнул. — Да я уже кончаю. Еще месяц — и все.

— А потом что? — спросил я.

— Потом пойду в истребительное училище. Сейчас у истребителей такие скорости, что летать можно только лежа.

— И ты сам можешь летать на самолете без инструктора?

— Конечно, сам,— сказал Славка.— Я же тебе говорю: кончаю уже.

— И вот так можешь? — Я показал на самолет, выползавший фигурный пилотаж.

— Знаешь что? — Славка встал, взял ведро в руки.— Хочешь со мной прокатиться?

— А разве можно?

— Даже нужно. А то нам вместо человека мешок с песком во вторую кабину кладут. Для центровки. Но на всякий случай, если спросят, хочешь ли в аэроклуб, говори: «Хочу». Мечта, мол, всей жизни. Понял?

— Понял,— сказал я.— Только я ведь с товарищем.

— Ну, можно и товарища.— Славка посмотрел на Толика.— Пойдешь?

— Я-то?

— Ты-то.

Толик посмотрел на Славку, потом на кувыркающийся самолет, снова на Славку.

— Да нет,— сказал он лениво,— что-то не хочется.— Повернулся ко мне: — А ты иди, если хочешь, я здесь подожду.

Мы со Славкой прошли в конец стоянки, к самолету, который стоял без колес, поднятый на «козелки». Из открытой кабины торчали ноги в брезентовых сапогах.

— Техник! — Славка поставил ведро и забрался на крыло.— Техник! — он дотронулся до одной ноги и покачал ее.— Я карбюратор промыл, все в порядке.

Голос из кабины ответил:

— Теперь промой подшипники колес, набей смазку, я шплинт поставлю, потом проверю.

— Техник,— сказал Славка,— мне летать пора.

Ноги поползли сперва вверх, потом опустились на крыло, из кабины вылез рыжий человек, с перепачканным смазкой лицом.

— Летать, летать,— сказал он, вытирая потный лоб рукавом и еще больше размазывая грязь.— Летать все хотят, а как драть машину, так вас днем с огнем не най-

дешь. Скажи командиру, пусть пришлет курсантов, которые отлетали.

— Ладно,— сказал Славка,— скажу.— Он повернулся ко мне: — Бежим.

Посреди аэродрома квадратом были расставлены четыре длинные скамейки, на них сидели курсанты в комбинезонах, полный человек в кожаной куртке и военной фуражке, летчик с белыми глазами, который в курилке жаловался на курсанта, сломавшего какую-то ногу.

В стороне от квадрата маленький летчик распекал долгового, нескладного парня с длинными, как у обезьяны руками.

— Ты, Кузнецов,— говорил летчик,— длинный фитиль. Ты не можешь сообразить своей головой, что, когда у тебя крен семьдесят градусов, руль поворота работает как руль высоты, а руль высоты работает как руль поворота.

— Почему не могу? Могу,— тихо обижался Кузнецов.

— А если можешь, какого хрена выправляешь шарик ногой, когда его надо ручкой тянуть?

Курсант виновато глядел в пространство. Может быть, он не знал, что ответить.

Тут Славка схватил меня за руку и всунулся между летчиком и курсантом.

— Иван Андреич,— сказал он,— вот мой товарищ, он хочет в аэроклуб поступить.

— Молодец! — сказал Иван Андреич. — Летчик — самая настоящая профессия для мужчины. Летчик — это романтика, красивая форма, деньги...

— И короткая жизнь,— неожиданно сострил Кузнецов.

— Что ты сказал? — возмутился Иван Андреич.

— Я пошутил,— быстро сказал Кузнецов.

— Ах, ты пошутил! Сейчас же на стоянку к Моргуну и драить машину. Понял?

— Иван Андреич, я пошутил,— взмолился Кузнецов.

— Шутка становится остроумней, когда за нее надо расплачиваться,— изрек Иван Андреич.— Шагом марш к Моргуну!

Курсант нехотя двинулся в сторону стоянки.

— Бегом! — крикнул ему вслед Иван Андреич. И повернулся ко мне: — После аэроклуба можешь поступить в

любое училище. Три года — и ты лейтенант. Еще три года — старлей. Восемнадцать лет прослужить — полковник. Документы принес?

— Нет,— сказал я, ошеломленный богатством открывшихся перспектив.

— Хорошо, принесешь завтра. Аттестат зрелости, справку с места работы, с места жительства, две фотокарточки. В отделе кадров скажешь, чтоб записали во второе звено, ко мне. Понял?

Тут незаметно подошел белоглазый.

— Почему же он должен записываться во второе,— сказал он,— может, он хочет в первое.

Иван Андреич повернулся к белоглазому, осмотрел его с головы до ног, словно видел впервые, и тихо, но внятно сказал:

— В первое он не хочет. Ему там нечего делать.

— Почему же нечего? — обиделся тот.— Что ты — лучше других?

— Я лучше,— убежденно сказал Иван Андреич.— Я курсантов летать учу, а не шасси ломать.

— Тоже мне учитель нашелся! — фыркнул презрительно белоглазый.— А в прошлом году кто фонарь потерял?

— А ты — хрен в сметане,— не найдя других возражений, буркнул Иван Андреич.

— Товарищи! — крикнул из квадрата человек в кожанке.— Прекратите немедленно. Вы что тут базар устроили? Хоть бы постеснялись курсантов.

— Да мы ничего, товарищ майор,— смутился Иван Андреич.— Просто небольшой обмен опытом.— Он наклонился ко мне и тихо напомнил: — Во второе звено. Понял?

— Иван Андреич,— снова влез Славка.— Можно, я его с собой в зону возьму для ознакомления?

Иван Андреич замялся.

— В зону нельзя,— сказал он.— По кругу еще куда ни шло, а в зону нет. Строжайший приказ по ДОСААФ: посторонних не возить.

— А я его возьму,— сказал белоглазый.— У меня сейчас Ухов летит, посажу к нему.

— Еще чего не хватало! — возмутился Иван Андреич.— Да твой Ухов летать не умеет. Угробит зазря человека. А из него, может, ас мирового класса бы вышел. Может, вышел бы космонавт.

Он говорил таким тоном, будто неизвестный мне Ухов уже меня загубил.

— Перков! — закричал Иван Андреич Славке так, словно Славка был далеко.— Разрешаю. Понял? Под свою ответственность. Пусть возьмет мой парашют. Только без фокусов. Если что, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. Понял?

— Так точно, понял,— ответил Славка.

Первый раз в жизни я в воздухе. Натужно, на одной ноте гудит мотор, самолет, задрав нос, медленно подбегает к пухлому облаку. Внизу какой-то чахлый лесок, деревушка, узкая полоска шоссе с ползущим по нему ярко-красным, похожим на божью коровку автобусом.

В наушники сквозь гул мотора прорываются голоса:

— «Альфа», я — сорок шесть, закончил третий, разрешите посадку.

— «Альфа», я — семнадцатый, к взлету готов.

— Сорок шестому — посадка.

— Семнадцатый, побыстрее взлетайте, не чухайтесь на полосе.

— Двадцать третий, куда лезешь не в свою зону, дурак?

— Четырнадцатый, прекратите болтовню в эфире. Ваша зона четвертая, четвертая зона. Как поняли меня? Я — «Альфа». Прием.

— Я — четырнадцатый, понял вас, понял. Прием.

Низкий невнятный голос сонно бубнит:

— Даю настройку, настройку, настройку. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Как понял меня? Прием.

— Понял, давно понял, закройся. Прием.

— Радисты, радисты, я — «Альфа», перестаньте хулиганить. Я — «Альфа».

— Валерка,— неожиданно слышу я свое имя и вздрагиваю,— как чувствуешь себя?

Сообразив, в чем дело, нажимаю на кнопку переговорного устройства — кнопку мне показали еще на земле:

— Тридцать первый, я — Валерка, чувствую себя отлично. Как поняли? Прием.

— Не дурачься,— отвечает спокойно Славка.

Он сидит в передней кабине. Передо мной, заслоня горизонт, торчит его круглая голова, обтянутая кожей потертого шлемофона.

Славка — мой школьный товарищ, с которым я просидел столько времени за одной партией, — ведет этот самолет. Он может накренить его влево или вправо, может по своему усмотрению ввести в пике или перевернуть вверх колесами. Славка, которому я не однажды давал по шее, который учился в школе гораздо хуже меня, может управлять этой машиной, может делать с ней все что угодно. На разворотах машина кренится, одно крыло опускается к земле, другое упирается в небо. Я хватаюсь за подлокотники кресла. Самолет переваливается на другое крыло, потом выравнивается и опять ползет вверх.

Снова Славкин голос:

— Поуправлять хочешь?

Я недоверчиво смотрю на его затылок.

— Ты мне, что ли?

— А кому же еще? Поставь ноги на педали.

Нагибаюсь, смотрю на педали, потом осторожно всовываю ноги под ремешки.

— Поставил? — спрашивает Славка. — Теперь возьми ручку управления.

Беру.

— Ручка управления, — говорит он тоном преподавателя, — служит для управления элеронами и рулем высоты. Ручку от себя — самолет идет вниз, ручку на себя — вверх, ручку влево — левый крен, ручку вправо — правый. Педаль служат для управления рулем поворота. Чтобы повернуть влево, надо координированным движением дать ручку влево и левую ногу вперед. Вот так.

Ручка и педали чуть шелохнулись, самолет накренился, горизонт поплыл вправо, мимо Славкиной головы.

— Понял? — спросил Славка и выровнял самолет.

— Понял, — сказал я.

— Ну давай, шуруй.

Я взял и недолго думая двинул ручку влево к борту кабины и тут же бросил ее, потому что самолет чуть не перевернулся — левое крыло оказалось внизу, а правое уперлось в небо. Потом крылья описали обратную дугу, самолет покачался и пошел ровно.

— Ты что, ошалел? — испуганно сказал Славка.

— Ты же сам сказал — ручку влево, ногу вперед.

— Я сказал,— проворчал Славка.— Надо чуть-чуть, еле заметным движением. Хорошо, что аэродром далеко, а то руководитель полетов сделал бы замечание.

— Ты извини, я не хотел,— сказал я.

— Ничего, обошлось,— сказал Славка и закричал: — «Альфа», «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!

Работать ему разрешили.

Я посмотрел на стрелки высотомера — прибора, похожего на часы. Маленькая стрелка стояла на единице, большая на двойке. «1200 метров», — сообразил я.

— Сейчас будем делать восьмерку,— сказал Славка.— Сперва левый вираж на триста шестьдесят градусов, потом правый. Вон видишь, на горизонте телевизионная вышка? По ней будем ориентироваться.

Я посмотрел вперед и увидел в дымке город — бесчисленное количество серых коробочек. Вышки я не увидел.

Правое крыло плавно поползло вверх, все выше и выше, я подумал, что самолет сейчас перевернется, вцепился в подлокотники сиденья, но крыло остановилось почти вертикально, и горизонт пополз вправо. Неимоверная тяжесть вдавила меня в сиденье. Такое ощущение, будто к ногам и рукам привязали двухпудовые гири, а щеки вместе с ушами ползут к плечам.

Славка поворачивает ко мне расплывшееся от счастья лицо:

— Ну как, жмет?

— Жмет немного,— бодрюсь я, еле двигая отяжелевшей челюстью.

— Это что,— говорит Славка,— ерундовая перегрузка! Вот на реактивных — там жмет. Переходим в правый вираж.

Правое крыло падает вниз, левое занимает его место над головой. Снова перед глазами плывет горизонт, но теперь уже в другую сторону.

Самолет выходит из виража, выравнивается.

— Петля! — коротко объявляет Славка.

Я не могу передать все свои впечатления, не могу рассказать, как все это было. У меня для этого не хватает слов.

Были петли и цолупетли, бочки правые и левые, боевые

развороты и перевороты через крыло. Не всегда я мог понять, где верх, где низ. Земля и небо менялись местами. Иногда казалось, что самолет висит неподвижно, а вселенная вращается вокруг его оси.

Потом наступило затишье, и все встало на свои места. Земля была внизу, небо сверху, — даже не верилось.

— Хочешь еще поуправлять? — спросил Славка.

— Еле заметным движением? — спросил я, приходя понемногу в себя.

— Теперь наоборот. Можешь показать все, на что способен. Поставь ноги на педали, возьми ручку. Когда я скажу «пошел», возьмешь ручку на себя до отказа, а левую ногу до отказа вперед. Не резко, но энергично. Понял?

— Понял.

Славка убрал газ, стало тихо. Скорость падала, самолет терял устойчивость — покачивался и проваливался вниз, «парашютировал».

— Пошел!

Я что было сил рванул ручку на себя и двинул вперед левую педаль. Самолет взмыл вверх, встал почти вертикально и вдруг рухнул на левую плоскость. Беспорядочно вращаясь, рванулась навстречу земля. Я испуганно бросил ручку, схватился за подлокотники. Славка перевел самолет в пикирование, потом боевым разворотом вывел на прежнюю высоту.

— Знаешь, что ты сделал? — спросил он.

— Иммельман, — наобум брякнул я.

— Левый штопор, — объяснил Славка. — Сейчас будем правый делать. Ручку на себя и правую ногу вперед. Приготовься. — Он убрал газ, самолет снова начал «парашютировать».

— Пошел!

В правый штопор я ввел самолет более уверенно.

И вот, наконец, мы садимся, рулим по земле. Нас встречает усатый механик. С поднятыми вверх руками он пятится назад, и самолет послушно тащится за ним. Механик остановился. Остановился и самолет. Механик сложил руки крестом. Славка выключил двигатель. Потом он выбрался на плоскость и открыл фонарь надо мной.

— Ну как ты, живой? — спросил он, заглядывая ко мне в кабину.

— Голова кружится, — сказал я.

— Ну и вид,— сказал Славка. — Зеленый, как огурец. Ничего, бывает хуже. Я первый раз после зоны облевал всю кабину. Потом самому чистить пришлось.

И все-таки мне этот полет понравился. Потом я летал много и на самых разных самолетах. Летал со скоростью звука и быстрее звука, сам делал и петли и полупетли, бочки горизонтальные и восходящие. Один раз мне даже пришлось катапультироваться, когда я вошел в плоский штопор и не мог из него выйти, но ни от одного полета у меня не осталось столько впечатлений, сколько от того первого раза, когда Славка разрешил мне прикоснуться к ручке управления.

После полета я пошел искать Толика. В ушах еще стояли крики по радио, шум мотора. Перепонки болели от перепадов давления. Меня еще мутило, в ногах была слабость, а земля казалась нетвердой и зыбкой. Толик мне был нужен немедленно. Я хотел ему рассказать, как все было: как я летал, как говорил по радио, как управлял самолетом и вообще какой я был молодец. Меня просто распирало от впечатлений.

Толик сидел в прежней позе на прежнем месте. Судя по его отрешенному виду, он отсюда и не уходил никуда.

— Ну как?— спросил он со слабо выраженным любопытством.— Летал?

— Летал,— сказал я счастливо.— Еще как летал, Толик!

— Здорово?— спросил он недоверчиво.

— Здорово,— сказал я и, пока не остыл, начал рассказывать:— Значит, так. Надеваем парашюты, садимся в кабину. Запустили мотор, проверили управление. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите выгруливать», «Я — тридцать первый, разрешите взлет». — «Тридцать первый, я — «Альфа», взлет разрешаю...»

— Подожди, — перебил Толик, — а чего ты такой бледный?

— Ерунда,— сказал я,— укачало немного. Ты слушай дальше. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите работать».

— Слушай,— вдруг загорелся Толик,— а что, если мы с тобой сейчас проваливаемся и перед нами голая баба, а?

— Дурак ты,— сказал я,— и не лечишься.

— Нет, ты рассказывай, рассказывай,— сказал Толик.

— Иди ты к черту!

Я махнул на него рукой и пошел в сторону стоянки. Туда подошла машина, которая должна была увезти нас в город.

Домой я вернулся около часу дня. Благодаря усилиям Толика мое возвращение прошло без скандала.

В квартире пахло распаренным бельем и мылом. Стиральная машина гудела на кухне, как самолет. Мать вышла из кухни, вытирая намокшие руки о полы халата.

— Привет,— сказал я ей преувеличенно бодрым тоном.— Как вы тут без меня живете?

— Валера,— спокойно сказала мама,— в следующий раз, когда ты захочешь ночевать у товарища, я бы хотела знать об этом заранее.

— Ладно, ладно,— сказал я и прошел в комнату.

Бабушка сидела у окна и читала библию.

Библия была у нее настольной книгой. Еще когда я был совсем маленьким, она читала мне Новый завет попеременно с «Коньком-горбунком» и «Песней о купце Калашникове». Помню, мне было жалко не столько самого Иисуса, сколько его ученика Петра, которому Иисус предсказал в роковую ночь, что, прежде чем прокричит петух, Петр трижды отречется от него. Так оно и получилось: трижды отрекся Петр от Христа, а потом вспомнил его слова и горько заплакал.

Потом, когда я научился читать, мне нравилось, как пишутся слова в этой книге «Ветхого и Нового завета». И еще нравилось, что все касающееся Иисуса писалось с большой буквы: «Истинно говорю тебе, что Человек Сей есть Сын Божий».

Не могу сказать, чтобы бабушка моя была очень набожной, хотя регулярно читала библию и ходила иногда в церковь не молиться, а слушать, как там красиво поют, и сама порой подпевала тоненьким своим голосочком.

Вообще-то голос у нее был нормальный, но пела она всегда тоненько-слезно, и я вспоминал при этом сказку, в которой волку подковали язык.

К бабушкиным религиозным причудам я относился

снисходительно, особенно после того, как в седьмом классе наша учительница химии Леонила Максимовна — она работала по совместительству внештатным лектором в обществе «Знание» — посредством нескольких химических опытов неоспоримо доказала отсутствие бога. В библию я тоже давно не верил, но то, что все, касающееся бога, писалось там с большой буквы, мне по-прежнему нравилось. При случае мне хотелось о себе самом написать в подобном стиле. Например, как меня сажали в самолет: «И взяли Его за Руки Его, посадили Его в кабину. А Плечи Его и Живот Его и все Тело Его привязали ремнями».

Я поприветствовал бабушку (помахал ей рукой и сказал: «Приветик»), прошел к себе в комнату, снял пиджак и повесил на спинку стула. Мама вошла следом за мной и остановилась в дверях.

— Ты есть хочешь? — спросила она.

— Пожалуй, можно слегка подзакусить, — великодушно согласился я.

— Иди мой руки.

Я пошел в ванную, умылся. Вернулся на кухню. Съел две тарелки фасолевого супа, две котлеты с картошкой и с ощущением легкого голода пошел к себе в комнату.

— Ты что собираешься делать? — спросила мама.

— Хочу немного вздремнуть.

— Ты разве ночью не спал? — мама подозрительно посмотрела на меня.

— Вообще-то спал, но еще немного подремать не мешает.

Я снял рубашку и брюки, повесил на спинку стула, забрался под одеяло и уснул как убитый.

Я проснулся с ощущением, что спал очень долго. Открыл один глаз и посмотрел на часы — они показывали половину восьмого. В восемь я обещал Тане быть возле универмага.

До универмага на автобусе три остановки, пешком минут десять. Десять минут на сборы, пять на то, чтобы что-нибудь пожевать. Пять минут можно еще подремать. Я закрыл глаза.

Через пять минут я решил, что десять минут на сбо-

ры слишком много — пяти минут за глаза хватит. За эти пять минут я подсчитал, что на дорогу тоже оставил слишком много — если даже не будет автобуса, быстрым шагом ходьбы минут шесть. Семь от силы. Без десяти восемь я все-таки встал и в трусах побежал в ванную ополоснуться. Бабушка сидела за швейной машинкой. Мама не было.

— Физкультпривет,— сказал я бабушке, пробегая мимо.

Вернувшись, я хотел быстро одеться, но брюки куда-то пропали. Ложась спать, я повесил их на спинку стула. Теперь их на стуле не было. Не было и под стулом. На всякий случай я перерыл постель, заглянул под кровать и вышел в большую комнату.

— Бабушка, где мама? — спросил я.

— Мама нет,— ответила бабушка, продолжая трещать машинкой.— Она ушла в кино.

— В кино — это хорошо,— сказал я.— А где мои брюки?

— А где ты сегодня ночевал? — спросила бабушка.

— Странный вопрос! — удивился я.— Я же сказал: у товарища.

— Если ты ночевал у него, почему же ты весь день после этого спишь?

— У меня летаргия,— сказал я нетерпеливо.— Где мои брюки?

Бабушка оставила машинку и посмотрела на меня из-под очков.

— Твои брюки мама спрятала, чтобы ты никуда сегодня не ходил, а готовился в институт.

— А, в институт...— сказал я.— Хотите, чтобы я стал образованным и интеллигентным человеком, а сами воруете мои штаны. Придется мне идти на улицу в трусах.

— Как хочешь,— ответила бабушка, возвращаясь к любимому делу.

Эта угроза на нее не подействовала. Я вернулся в маленькую комнату и стал рыться в шифоньере в поисках брюк. Брюки я не нашел, но нашел старую мамину юбку из какого-то лохматого зеленого материала. Я взял и примерил ее на себя. Посмотрел в зеркало. А что? Я в ней выглядел не так уж плохо.

Я снова вышел в большую комнату, сказал бабушке:

— Ну, я пошел,— и направился к двери.

— Валера,— остановила меня бабушка,— ты что, серьезно собираешься в таком виде на улицу?

Все-таки она испугалась.

— А что, разве так плохо? — спросил я простодушно.

— Нет, ты, конечно, если тебе самому не стыдно, можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Но этим поступком ты поставишь в неловкое положение не только себя, но и нас с мамой. Где это видано, чтобы взрослый мужчина ходил по улицам в юбке?

— Взрослый мужчина,— повторил я.— Во-первых, у взрослых мужчин штаны не отбирают, а во-вторых, тут ничего такого нет, шотландцы, например, взрослые и не-взрослые, сплошь и рядом ходят по улицам в юбках.

— Но ты же не шотландец.

— А кто знает? Я же не буду каждому паспорт показывать.

С этими словами я направился к выходу.

— Валерий! — строго сказала бабушка.

Я остановился.

— Я не могу позволить тебе в таком виде выходить на улицу.

— Тогда отдай брюки.

— Хорошо, я тебе отдам брюки, но маме я скажу, что ты меня вынудил.

— Согласен,— сказал я.

Бабушка открыла ящик стола, на котором стояла машинка, и достала брюки. На них были пятна от пыли.

— Прежде чем прятать брюки, надо как следует протирать ящик,— сказал я.— У меня лишних выходных брюк нет.

Я пошел к себе в комнату и, не снимая ботинок, быстро переоделся. Было без пяти восемь.

— Валера,— еще раз попыталась образумить меня бабушка,— зачем ты уходишь, если мама тебе не разрешила?

— У меня дела,— сказал я.

— Какие могут быть на улице дела?

— Разные.

Я вышел.

Когда я пришел к универмагу, было четыре минуты девятого. Я оглянулся вокруг — Тани не было. Хорошо, что пришел раньше я, а не она.

Скамейку под часами захватила группа ребят. Их было много, скамейки им не хватило. Посреди скамейки сидел белобрысый парень с гитарой на веревочке и нещадно рвал струны. Остальные, которые сидели от него справа и слева или стояли напротив, покачивались в такт музыке и, делая зверские рожи, что-то такое пели. Песни у них были разные, а припев ко всем песням один:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

При этом один из стоявших парней хлопал себя по ляжкам и тихо взвизгивал:

— Ух-ха!

Шла двадцатая минута девятого, Тани не было.

Под часами остановилась какая-то девушка. Я подошел ближе, посмотрел на нее сбоку. Девушка держала в руке изящную сумочку, на которой был изображен космонавт Леонов, свободно плавающий в космическом пространстве. Подпись под рисунком гласила: «Пролетая над Крымом». Я пригляделся к этой девушке и понял, что Таню в лицо я как следует не запомнил. То ли она, то ли не она. Они сейчас все одинаковые. Делают большие глаза и прически вроде тюрбанов. Я описал вокруг девушки глубокий вираж, посмотрел ей в лицо — ничего не понял. Сделал еще один круг в надежде на то, что если это Тانيا, то она узнает меня. Девушка взглянула на меня равнодушно и отвернулась. Значит, не Тая. Я отошел к газетному стенду, прочел заголовки: «Не снижать темпы заготовки кормов», «Новые злодеяния расистов», «Москва приветствует высокого гостя», «Демократия по-сайгонски», «Замечательная победа советских ученых», «Переполох в Белом доме».

Я вернулся к часам.

Ребят с гитарой на скамейке уже не было, на их месте сидели старичок с газетой и старушка с вязаньем. Было без пяти девять. Ну что ж, не пришла — значит, не пришла. Я пошел было по улице в надежде встретить Толика, но

тут же вернулся. А вдруг она что-нибудь перепутала и решила, что мы встречаемся не в восемь, а в девять.

Я проторчал там еще ровно двадцать минут и только после этого ушел. Толика я нигде не встретил, он был уже, наверное, в парке. В парк мне идти одному не хотелось, я вернулся домой.

После полета со Славкой во мне что-то словно бы перевернулось. Где бы я ни был — на работе, дома или на улице, — я все время представлял себе, что летаю.

Мама с бабушкой чувствовали, что со мной что-то произошло, но никак не могли понять, что именно, а я им ничего не рассказывал, понимая, что это бессмысленно — все равно не поймут.

Мать однажды не выдержала и спросила:

— Что ты ходишь все время словно очумелый? Может, у тебя какие-то неприятности? Неужели ты не испытываешь желания поделиться с родной матерью?

— Нет, мама, у меня никаких неприятностей, — сказал я, — у меня все в порядке.

Вскоре, однако, меня крупно разоблачили. Как-то я вернулся домой с работы раньше обычного. Мама с бабушкой стояли над фанерным ящиком от посылки, в котором у нас хранились документы. Сейчас содержимое ящика было вывалено на стол беспорядочной грудой.

— Чего вы тут ржете? — спросил я с самым беззаботным видом.

Мама выпрямилась и строго спросила:

— Где твой аттестат?

Я хотел сказать сразу правду, но не решился и уклонился от прямого ответа:

— Какой аттестат?

— У тебя что, много разных аттестатов? — повысила голос мама.

— А, — сказал я, — разве его здесь нет?

— Валера, куда ты дел аттестат?

— Я его не брал, — сказал я.

Мама подошла ко мне.

— А ну, посмотри мне в глаза.

— Да что там смотреть! — я рассердился и пошел к себе в комнату. — Нет аттестата, я его сдал.

Мама пошла за мной и встала в дверях.

— Куда сдал? — тихо спросила она.

— Куда надо, туда сдал,— сказал я.— В конце концов я уже достаточно взрослый человек и могу сам распоряжаться своей судьбой.

Мама не отступала:

— Я тебя спрашиваю, куда ты сдал аттестат?

— Куда, куда! — сказал я.— В военкомат.

— Зачем? — несмотря на всю суровость маминого тона, глаза у нее были испуганные. Мне стало ее жалко, и я сбавил тон.

— Мам, ты не сердись,— сказал я,— я подал заявление в летное училище.

— Так я и знала,— сказала бабушка и всплеснула руками.

Мама вошла в комнату и села на кровать.

— Это правда?

— Правда,— сказал я, стараясь не встречаться с ней взглядом.

— И ты все хорошо продумал? — спросила она, помолчав.

— Да, мам,— сказал я.— Я все продумал. Я летал недавно на самолете, меня катал Славка Перков, и я понял, что хочу быть летчиком. Я не хочу быть энергетиком.

— Но почему обязательно энергетиком? — закричала мама.— Ведь есть много других специальностей. Ты можешь стать физиком, металлургом, железнодорожником. Неужели ты не можешь выбрать из всех одну какую-нибудь приличную специальность?

— Я уже выбрал,— твердо сказал я.— Я буду летчиком.

Мама попыталась воздействовать на мои сыновние чувства.

— Валера,— сказала она,— прошу тебя, пойми меня. Если ты будешь летать, я никогда не буду спокойна. Неужели ты не можешь понять, что ты у меня единственный сын. Что, если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу.

Я промолчал.

— Короче,— успокаиваясь, сказала мама,— ты сейчас же пойдешь в военкомат и заберешь документы.

— Да ты что? Кто мне их отдаст? — сказал я.

— Если попросишь как следует, отдадут. В крайнем случае можешь сказать, что мама тебе не разрешает поступать в это училище.

Тут мне даже стало смешно.

— Ну и чудачка ты,— сказал я.— Да что это такое ты говоришь? Как это я пойду в военкомат и скажу, что мама не пускает меня в училище?

— Да, так и скажешь,— сказала мама.— И ничего тут смешного нет.

— Как же не смешно? — сказал я.— Да надо мной там весь военкомат обхохочется. А если будет война, я тоже скажу, что мама не пускает?

— Если будет война, тогда другое дело, а сейчас ты пойдешь и заберешь документы, если не хочешь, чтобы я это сделала сама.

С этими словами мама встала и пошла в большую комнату. Я пошел следом за ней посмотреть, что она будет делать. Она открыла шкаф, вынула из него свой выходной темно-синий костюм с ромбиком (этот костюм она надевала только в самых торжественных случаях) и пошла в ванную переодеваться.

— Если бы ты был хорошим мальчиком, ты бы не стал так волновать свою маму,— хмуро сказала бабушка.

— Значит, я нехороший мальчик,— сказал я и сел на стул.

Мама вернулась из ванной. Под синей жакеткой на ней была полупрозрачная блузка.

— Ты что, серьезно собралась в военкомат? — спросил я.

— Абсолютно серьезно,— сказала мама, вешая в шкаф свой халат.— Я сейчас же пойду к командиру военкомата.

— Не командир, а начальник,— сказал я.

— Вот я пойду к этому начальнику. Я с ним поговорю. Что это за безобразие? Как это можно мальчика без разрешения родителей записывать в военную школу?

— Мама,— я встал в дверях,— ты никуда не пойдешь.

— Это еще что такое? — еще больше возмутилась мама.— Отойди от дверей.

— Не отойду,— сказал я.

— Ты, может быть, еще драться с матерью будешь? Отойди сейчас же!

В конце концов я отошел.

— Как хочешь,— сказал я.— Все равно документы тебе никто не отдаст.

— Ну, это мы еще посмотрим,— сказала мама и вышла.

Она вернулась примерно через час, возбужденная и довольная. Начальник сперва не хотел ее слушать, а потом сдался и пообещал затребовать документы обратно.

Я ничего не сказал ей. Я пошел к себе в комнату, лег на кровать. Вошла мама и села рядом со мной.

— Сынок,— тихо сказала она и, как в детстве, погладила меня по голове.— Сыночек, прости меня, пожалуйста, но я не могла поступить иначе. Если бы ты стал летчиком, я бы этого не пережила.

Я ощущал себя самым несчастным на земле человеком. До каких же это пор мной будут руководить? Когда мне позволят самому отвечать за свои поступки?

У Толика жизнь была тоже не сахар.

Однажды в получку он пересчитал деньги и сказал:

— Порядок. Сегодня иду покупать мотороллер. Пойдешь со мной?

Документы для покупки в кредит у него были давно заготовлены. Не заходя домой, мы пошли сначала в сберкассу, там у Толика лежало шестьдесят с чем-то рублей и еще набежало четыре копейки процентов.

Мотороллер мы катили по очереди. Сначала Толик сидел за рулем, а я толкал, потом толкал Толпк, а я сидел.

Мотороллер был весь новенький, жирно смазанный маслом, а передние амортизаторы были еще обернуты вощеной бумагой, чтоб не пылились.

Уже в переулке, недалеко от нашего дома, мы остановились, чтобы передохнуть, мотороллер поставили на дороге, а сами сели на тротуар и закурили.

— Значит, в институт будешь поступать? — спросил Толик.

— Придется,— сказал я не очень весело.— Я уже подал в наш педагогический.

— Ты же в Москву хотел? — удивился Толик.

— Чего я там не видел,— сказал я.— Раз в училище не вышло, поступлю сюда, а там будет видно.

— Слушай,— сказал Толик,— а ты, может, в армию пойдешь. Оттуда в училище попасть легче, чем с гражданки. Там всем, у кого среднее образование, предлагают.

— Ну да?

— Точно тебе говорю. У меня братан двоюродный так поступил.

Это меня заинтересовало. Значит, если я провалю экзамены — возьмут в армию. Из армии — прямая дорога в училище. Это же просто здорово! Блестящий выход из положения.

— Ладно,— сказал я,— поехали дальше.

Толик взгромоздился на мотороллер, и мы поехали. То есть он поехал, а я толкал. Так, подталкиваемый мною, Толик и въехал торжественно в наш двор.

Во дворе было шумно. Мужчины в беседке забивали «козла». Женщины вывели детей и стояли толпой, разговаривали о своих делах.

Группа пацанов в переулке играла в футбол. Когда мы с Толиком въехали, они сразу свой матч закончили, кинулись к Толику, обступили мотороллер и стали обсуждать его достоинства и недостатки.

Подошла и мать Толика, тетя Оля, которая развешивала во дворе белье. Она так и подошла с оставшимся бельем, перекинутым через руку.

— Это что такое? — спросила она у Толика, кивая на мотороллер.

— Не видишь, что ли? Мотороллер,— сказал Толик довольно бодро.

— А где ты его взял?

— По лотерее выиграл,— сказал Толик.

— Ах ты, идиот несчастный! — сказала мать. — Да что же ты врешь, бессовестный? — Она подошла к своему окну (они жили на первом этаже) и постучала свободной рукой: — Федор!

Там долго никто не откликался.

— Федор,— повторила она,— выйди-ка на минутку.

Окно растворилось, из него высунулся небритый человек в нижней рубахе.

— Чего кричишь? — сказал он недовольно. — Знаешь ведь: человек с работы пришел, отдохнуть должен. — Но тут он заметил Толика с мотороллером, замолчал и долго с любопытством разглядывал и мотороллер и Толика.

— Что это? — спросил он наконец.

— Не видишь, что ли? Мотороллер,— понуро объяснил Толик, глядя на отца грустными и преданными глазами.

— Мотороллер? — заинтересовался отец.— Надо поглядеть.

Он раздвинул на подоконнике горшки с цветами и вылез наружу прямо через окно. Кроме нижней рубахи, на нем еще были серые галифе и шерстяные носки с дырами на больших пальцах. Он оглядел мотороллер со всех сторон, заглянул под переднее колесо, потом погладил рукой сиденье.

— Вот это машина! — сказал он с явным восхищением и повернулся к Толику:— И небось дорого стоит?

— Он его по лотерее выиграл,— насмешливо сказала мать.

— Да не по лотерее,— сказал Толик,— я пошутил. В рассрочку взял. Восемьдесят рублей всего заплатил, а остальные из зарплаты постепенно вычитать будут.

— Постепенно — это хорошо,— сказал отец одобрительно.— Постепенно — это не то что сразу. А на кой он тебе нужен?

— На работу, с Валеркой ездить будем.

— На работу,— согласно кивнул отец,— с Валеркой? Это хорошо. Самое главное — удобно. В автобусе давить ся не надо.

— И тебя буду возить,— осмелев, задобрил Толик.

— И меня,— эхом откликнулся отец и, неожиданно развернувшись, впел Толику такую оплеуху, что он повалился вместе со своим мотороллером на землю и чуть не отдал матери ноги, да она вовремя отскочила.— Чтo больше я этого мотороллера не видел,— спокойно сказал отец Толика и пошел обратно к окну.

— Дурак старый,— сказал ему вслед Толик, поднимаясь и потирая покрасневшую сразу щеку.

— Что ты сказал? — спросил отец и обернулся.

— Туняедец кривой,— сплевывая на землю кровь, сказал Толик, хотя отец его был вовсе не кривой и даже не туняедец.

— А ну подойди! — грозно сказал отец и сделал шаг к Толику.

— Сейчас подойду,— сказал Толик, отступая назад.

— Ну, ладно,— сказал отец,— ужо домой придешь — поговорим.— И полез в окно. На каждой ягодице у него было по огромной рыжей заплате.

— Ты с отцом лучше не спорь,— примирительно сказала мать и пошла развешивать дальше белье.

Толик поднял мотороллер и стал смотреть, не погнулся ли руль.

Вечером, когда мы, как всегда, должны были идти в парк, я зашел за Толиком, но, не дойдя до его двери, остановился в коридоре. Из-за двери доносился нечеловеческий крик и звонкие удары ремня по чему-то живому. Мне стало жаль Толика.

Сочинение мы сдавали в том самом актовом зале, где некоторое время спустя я проходил медкомиссию. Я пришел сюда с созревшим желанием получить двойку.

Окна были распахнуты настежь, ветер гулял по залу и слегка шевелил листки бумаги, аккуратно разложенные на длинных черных столах по три стопки на каждом.

Мы ввалились туда огромной толпой, нас было человек сто пятьдесят или больше, может быть, даже двести. Все сразу кинулись занимать места поудобней; пока я колебался, осталось только четыре передних стола, за одним из них, стоявшим возле окна, уселась девушка в белой блузке с комсомольским значком, вероятно отличница. Уже все расселись, а я стоял в проходе между столами и растерянно озирался в надежде на какое-нибудь место сзади, но там было все забито.

Две преподавательницы, ожидая, пока все успокоится, тихо о чем-то между собой разговаривали. Одна из них, высокая, худая, с крашеными волосами и выдающимся вперед подбородком, подняла голову и посмотрела на меня.

— Молодой человек, вы что, не можете найти себе место? Садитесь сюда.— Она кивнула на стол перед собой.

— Ничего, я здесь,— сказал я и сел рядом с девушкой в белой блузке, хотя мне она, я говорю про девушку, совершенно не нравилась.

Место было не из самых лучших, зато возле окна, которое выходило во двор института, засаженный тополями.

За моей спиной стоял тихий гул, все перешептывались, скрипели стульями и шелестели бумагой. Преподаватель-

пицы начинать не спешили и продолжали вполголоса свой не слышный мне разговор.

Потом высокая преподавательница посмотрела на большие мужские часы, что были у нее на руке, и встала.

Она молча обвела аудиторию медленным взглядом, все сразу перестали шуршать бумагой и замерли.

— Товарищи,— сказала она негромким, приятным голосом,— сейчас я напишу на доске темы ваших сочинений. Всего их будет четыре. Три по программе и одна свободная. Времени вам дается три часа. Бумаги достаточно. Если кому не хватит, мы дадим еще. Чистовики писать на листках со штампами. Все ясно?

Кто-то там сзади сказал:

— Ясно.

— Я думаю, пасчет шпаргалок и списывания вас предупредить не надо: вы уже люди взрослые и хорошо знаете, чем это грозит.

После этого она подошла к доске и стала писать темы сочинений: «Образы крестьян в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Образ Катерины в пьесе Островского «Гроза» и «Тема революции в поэме Маяковского «Хорошо». Свободная тема называлась: «Моральный облик советского молодого человека».

Когда преподавательница написала это все на доске, все погалдели немного, посуетились, а потом опять стало тихо — началась работа. Девушка в белой блузке спросила, будут ли неточности в цитатах считаться ошибками. Преподавательница ответила, что смотря какие неточности; девушка успокоилась, разложила перед собой бумагу и стала усердно трудиться, закрыв свое сочинение промокашкой, чтобы я не подглядывал.

Я сперва хотел писать по Некрасову и уже вывел на бумаге название темы и стал составлять план, но потом мне стало скучно. Я подумал: зачем я буду писать по Некрасову или еще что-нибудь, если я все равно хочу получить двойку? Может, лучше и не стараться, просидеть все три часа просто так, а потом сдать чистую бумагу — да и все? И я стал смотреть в окно, что там происходит. Но там, собственно, ничего особенного не происходило.

— Молодой человек, вы почему не работаете?

Я поднял голову. Надо мной стояла высокая преподавательница и смотрела на чистую бумагу, которая лежала передо мной.

— Как не работаю? — не понял я.

— Я вас спрашиваю: почему вы ничего не пишете?

— Я думаю,— сказал я.

— Пора бы уже что-нибудь и придумать,— сказала она, посмотрев на свои большие часы.— Прошло полчаса, а вы еще не написали ни строчки.

— Ладно,— сказал я,— я успею.

— Смотрите, дело ваше,— она пожала плечами и пошла между столами, проверяя, кто чем занимается.

Я подумал, что времени впереди еще много и, наверное, надо чем-то заниматься, а так просто сидеть и смотреть в окошко неудобно, да и смотреть, собственно, не на что.

И тут меня вдруг осенила замечательная идея, я даже не знаю, как это мне пришло в голову,— я решил написать, как я летал на самолете, как Славка давал мне подержать ручку, как он разрешил потянуть ее до отказа на себя, а левую ногу вперед, а потом опять ручку на себя и правую ногу вперед, и как самолет кувырчался в воздухе, и как кувырчались и летели навстречу деревья, и как мне было при этом страшно. И писать интересно будет, и двойку наверняка поставят, потому что сочинение не по теме.

Я вот только не знал, с чего начать — то ли с того момента, когда я ночью в сквере встретил Толика, то ли еще раньше, когда мы с Толиком увидели парашютистов во дворе школы, но потом мне показалось что всего этого будет слишком много, и я начал прямо с аэродрома, как встретил Славку. Я все написал подробно: и как он сидел в курилке, и какой на нем был комбинезон, и какой за поясом висел шлемофон, и как мы ходили упрашивать Ивана Андреича, и как Иван Андреич спорил с белоглазым, и как мы потом со Славкой летели, и как он кричал по радио: «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!»

Все это я описал подробно, как что было, кто где стоял, кто что говорил. И я так здорово себе это все стал представлять, что даже и не заметил, как стал говорить вслух, подражая руководителю полетов:

— «Тридцать первый, я — «Альфа», работать разре-

шаю, разрешаю работать, я — «Альфа», как поняли меня? Прием».

— Молодой человек, — услышал я голос высокой преподавательницы, — вы что разговариваете?

Я жутко смутился. Еще чего не хватало — вслух начал разговаривать.

— Да я про себя.

Страшно неловко. Ничего себе, подумает — паренек с приветом.

Преподавательница как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала, только пожала плечами.

Это меня немного сбilo с толку, и я не сразу смог войти в прежний ритм, но потом опять все вспомнил и пошел писать дальше. Я описывал все очень подробно, потому что жалко было что-нибудь пропустить. И про то хотелось написать и про это, и я не добрался еще до самого полета, как у меня кончилась вся бумага.

— Можно еще бумаги? — спросил я.

— А что, у вас разве уже кончилась? — удивилась преподавательница. Она только что обошла все столы и вернулась на свое место.

— Кончилась, — сказал я виновато.

— Ну вот возьмите еще.

Я подошел к столу, она пододвинула ко мне лист бумаги.

— Мало, — сказал я.

Она дала мне еще лист.

— Еще, — сказал я.

Она переглянулась со своей соседкой и уставилась на меня.

— Да вы что? — сказала она. — Вы целый роман хотите писать?

— А разве нельзя?

Время, отпущенное на экзамен, уже истекало, а я только дошел до самого главного. «Ручку влево и левую ногу вперед — левая бочка, ручку вправо и правую ногу вперед — правая бочка. Ручку на себя до отказа и левую ногу вперед — левый штопор. Ручку на себя до отказа и правую ногу вперед...»

— Товарищ, вы что гудите?

Я очнулся. Скрестив на груди руки, надо мной стояла высокая преподавательница, а я, поставив ноги на вообра-

жаемые педали, тянул на себя воображаемую ручку управления самолетом и изо всех сил изображал губами рев мотора на полном газу.

Сзади кто-то хихикнул. Моя соседка по столу бросила на меня уничтожающий взгляд и отодвинулась, как бы подчеркивая, что не имеет со мной ничего общего.

— Ничего,— сказал я,— я просто так.

Вскоре у меня опять кончилась бумага. Преподавательница дала мне сразу листов десять и сказала, что теперь-то уж мне должно хватить наверняка.

— Посмотрим,— сказал я уклончиво.

Время шло незаметно. Я не написал еще и половины, преподавательница посмотрела на часы и сказала:

— Заканчивайте, товарищи, осталось пятнадцать минут.

Девушка в белой блузке положила свое сочинение на преподавательский стол и тихо вышла из зала. За ней сдал свою работу демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником, потом косяком пошли остальные. Они молча клали свои листочки на стол и выходили. Осталось человек шесть. Преподавательница ходила между столами и торопила:

— Заканчивайте, товарищи, заканчивайте, время вышло.— Она подошла ко мне.— Заканчивайте.

— Сейчас,— сказал я.

Я все еще писал самое главное. «Ручку на себя, левую ногу вперед. Ручку от себя, правую ногу вперед. Ручку влево, левую ногу вперед. Ручку вправо, правую ногу вперед. Ручку вперед, ногу назад. Ногу вперед, ручку назад...»

Нет, что-то не так. Я зачеркнул это, чтобы написать правильно. «Ручку на себя, ногу от себя. Ногу на себя, ручку от себя...»

В конце концов я запутался намертво. Я поднял голову и опалелым взглядом окинул аудиторию. Из абитуриентов я остался один. Высокая преподавательница, скрестив на груди руки, стояла передо мной и ждала, не давая сосредоточиться.

— Молодой человек,— сказала она,— может быть, вы думаете, что я вас буду ждать до вечера?

— Сейчас,— сказал я.— Еще две минуты.

— Никаких минут,— сказала она,— сдавайте работу немедленно.

Я отвечать ей не стал, мне было некогда. Мне надо было еще написать про сектор газа, про перегрузки, про то, как на выходе из пикирования оттягивает щеки к плечам, как дрожит и «парашютирует» самолет на малой скорости перед вводом в штопор; мне надо было многое еще рассказать, и я торопился, а преподавательница стояла у меня над головой и все чего-то ворчала.

— Молодой человек,— она взяла меня за плечо,— что с вами? Очнитесь!

— Отберите у него бумагу! — взвизгнула другая, сидевшая за столом преподавательница.— Что вы на него смотрите?

Та, которая стояла возле меня, схватила бумагу и потянула к себе. Авторучка оставила на бумаге косую полосу.

— Не трогайте! — закричал я, закрывая бумагу всем телом.— Я сейчас. Еще полминуты.

Но преподавательница дернула бумагу к себе, бумага затрещала, и я отпустил, чтоб не порвать.

— Очень странно вы ведете себя, молодой человек,— сказала преподавательница и понесла мои листочки к столу.

— А ну вас,— сказал я и, закрыв ручку, сунул ее в карман и пошел к выходу.

Я думал, что они меня остановят и отчитают за грубость, но ничего не сказали: наверное, не хотелось им связываться с психом. Я вышел в коридор. В конце концов, стоит ли ради двойки так уж стараться?

Через день я пошел узнавать оценку. В приемной комиссии было много народу, все толклись возле девушки, сидевшей за боковым столиком.

— Ребята! — пыталась она перекричать всех, кто ее окружал.— Через полчаса оценки вывесят в коридоре, и вы все узнаете. Неужели так трудно подождать полчаса?

Девушка, которая была прошлый раз в белой блузке (сейчас на ней была зеленая кофточка), стояла перед столом секретарши и ныла:

— Девушка, ну пожалуйста, что вам стоит, посмотрите на «у», Уварова.

— Девушка, я вам сказала, через полчаса сами увидите.

— Ну что через полчаса? Ну какая вы странная! Неужели так трудно?

— А вы что думаете, не трудно? Вас вон сколько, и каждый хочет, чтоб ему сделали исключение,— говорила секретарша, листая журнал.— Как вы говорите? Уварова? Двойка вам, Уварова. Приходите после обеда, получите документы. Вам что, молодой человек?

Демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником держал в руках зеленую хлопчатобумажную солдатскую шляпу. Сейчас такие шляпы носят солдаты, которые служат на юге.

— Перелыгина посмотрите,— робко попросил он.

— Девушка, ну как же — двойка? — не уходила Уварова.— Этого не может быть. Я в школе пиже чем на четыре никогда не писала.

— Перелыгин, у вас тройка. Вы идете вне конкурса?

— А как же,— обрадовался Перелыгин.— Мне больше тройки не надо.

— Девушка, вы еще посмотрите, там, наверно, ошибка.

— Уварова,— секретарша устало поморщилась,— я вам сказала все. Документы в отделе кадров после обеда. Ваша фамилия? — обратилась она ко мне.— Важенин? Вы знаете, с вами хочет поговорить Ольга Тимофеевна.

— Кто это — Ольга Тимофеевна? — спросил я.

— Ваш преподаватель. Она сейчас, кажется, в деканате. Пойдете прямо по коридору, четвертая дверь направо.

Честно сказать, идти в деканат мне не очень хотелось. Если поставили двойку, о чем разговаривать? Сказали бы, как Уваровой: «Приходите за документами», — и я бы пришел. Спорить не стал бы.

Ольга Тимофеевна сидела на столе и о чем-то разговаривала с черным, похожим на цыгана человеком, он стоял у окна. Мундштук папиросы, которую она держала в руке, был весь перемазан помадой.

Я поздоровался.

— Здравсьте,— хмуро ответила Ольга Тимофеевна.— Вы ко мне?

— Да, меня послали,— сказал я.

— Ваша фамилия Важенин? Возьмите стул, посидите. Я сейчас освобожусь. Так вот, Сергей Петрович, я думаю,

что этот вопрос мы в ближайшее время решим. Николай Николаевич сказал, что он лично не возражает.

— Ну, хорошо,— сказал Сергей Петрович,— посмотрим, там будет видно.

Он взял со стола большой желтый портфель, а со шкафа снял соломенную шляпу с аккуратно загнутыми полями, попрощался и вышел.

Мы остались вдвоем. Ольга Тимофеевна раскурила погасшую папиросу. Она сидела прямо напротив меня, положила ногу на ногу.

— Так вот что, товарищ Важенин,— заговорила она, не спеша подбирая слова,— я прочла ваше сочинение. Оно написано не по теме.

— Правильно,— подтвердил я охотно.

— Вообще,— сказала она,— у нас не принято, чтобы абитуриенты писали, что хотят, но ваше сочинение мне очень понравилось, и я поставила вам пятерку.

— Пятерку? — я посмотрел на нее: шутит, не шутит?

Вроде не шутит.

— Там, конечно, были незначительные ошибки, я их сама исправила. Но вообще все сочинение написано так свежо, так выразительно, хороший диалог, точные детали... Я поражена. Из моих абитуриентов еще никто так не писал. Вы занимаетесь где-нибудь в литкружке?

— Нет,— сказал я и сострил:— Может, все дело в генах?

— В каких генах?

— Ну, в обыкновенных. Наследственность. У меня ведь отец — писатель. Не слышали — Важенин?

— Нет,— заинтересовалась она.— А где он печатается?

— Да он печатается мало. Он в цирке пишет репризы.

— А,— сказала она.

— Ага,— подтвердил я.

Она положила окурки в чернильницу и слезла со стола.

— Я очень рада, что познакомилась с вами. У нас в институте есть литературное объединение «Родник». Я им руковожу. У нас там очень способные ребята. Правда, прозаиков мало, в основном поэты.— Она помолчала, подумала и сообщила:— Я, между прочим, тоже пишу стихи.

— Да? — удивился я.

— Хотите послушать?

— С удовольствием.

— Я вам прочту последнее свое стихотворение.— Она отошла к стене, напряглась, вытянула шею и вдруг закричала нараспев:

Гроза. И гром гремит кругом,
Грохочет град, грома гречиху.
Над полем, трепеща крылом,
Кричит и кружится грачиха.

И я, подобная грачу,
Под громом гроз крылом играю.
Куда лечу? Зачем кричу?
Сама не знаю.

При этом на шее у нее вздулись жилы и лицо покраснело от напряжения. Она перевела дух и остановила на мне взгляд, выжидая, что я скажу. Я молчал.

— Ну как? — не выдержала она.— Вам понравилось?

— Очень понравилось,— сказал я поспешно.

— Мне тоже нравится,— искренне призналась она.— Я вообще не очень высокого мнения о своих способностях, да и времени не всегда хватает, но эти стихи, по-моему, мне удалось. Вы обратили внимание на аллитерации? Часто повторяющийся звук «гр» подчеркивает тревожность обстановки. «Грохочет град, грома гречиху...» Вы чувствуете?

— Да, это есть,— согласился я.

— А образ грачихи, которая кружит над полем и тяжело машет намокшими крыльями?

— Ну, это вообще,— восхитился я.

— Я послала эти стихи в журнал «Юность», не знаю, напечатают или нет.

— Должны напечатать,— сказал я убежденно.— Если такие стихи не будут печатать...

Она обрадовалась.

— Вы думаете? Мне тоже кажется, что должны, но без знакомства очень трудно пробиться.

— Наверно,— согласился я.

— Ну, ладно.— Она поднялась и протянула мне шлюскую, в кольцах руку:— Я думаю, что мы еще будем встречаться и поговорим. Всего доброго.

— До свидания,— сказал я.

Иногда мне кажется, что я вообще невезучий человек. В самом деле, ведь вот когда я хотел поступить в институт — я в него не поступил. А когда не хотел и сделал все, чтобы не поступить, — мне ставят пятерку да еще находят литературные данные. А мне эти данные ни к чему. Мне бы попасть в училище.

По устной литературе Ольга Тимофеевна поставила мне пятерку без всяких разговоров. Я только начал ей отвечать и хотел плести какую-нибудь чушь, но она меня перебила и сказала:

— Я верю, что вы все знаете.

И поставила оценку. Если бы так все шло дальше, я бы, пожалуй, вытянул на повышенную стипендию, но я вовремя придумал умнейший ход. Иностраный я завалил в пух и прах и то только потому, что вместо английского, который учил в школе, пошел сдавать немецкий.

Тут уж я наслаждался вволю. Я отомстил сполна всем, кто пихал меня в этот институт, и всем, кто хотел вырастить из меня местного гения. Такого чудовищного ответа древние стены этого института, наверно, еще не слышали. Экзаменаторша была так потрясена, что, когда ставила двойку, сломала перо. Я с удовольствием предложил ей свою ручку. Ее ручка писала толсто, а моя тонко. Поэтому двойка получилась как бы составленная из двух половинок: жирная голова на тонкой подставке.

Дома вздохов хватило на две недели, но я был доволен. Теперь оставалось только ждать повестку, и ждать пришлось недолго. Повестки мы с Толиком получили одновременно. Нам предлагалось явиться на медкомиссию остриженными под машинку, имея при себе паспорт и приписное свидетельство.

Долго стоял я перед дверью, обитой черной клеенкой. Я нажал кнопку звонка, и звонок где-то там далеко продребезжал еле слышно. Потом зашлепали шаги в мягкой обуви, дверь отворилась. Из-за нее выглянула женщина лет тридцати пяти с собранными в узел и заколотыми кое-как волосами. На ней был толстый махровый халат, расписанный красными большими цветами, и домашние тапочки. Эту женщину звали Шурой. Она была второй женой моего отца и, следовательно, приходилась мне маче-

хой. Она нисколько не удивилась моему появлению, хотя сделала вид, что удивилась.

— А, Валера,— сказала она,— проходи.— И отступила в сторону, пропуская меня внутрь.

Отец с Шурой занимали вдвоем отдельную квартиру из двух смежных комнат. Первая комната у них была общей, вторая спальней и кабинетом, в тиши которого отец создавал свои бессмертные репризы, интермедии, скетчи и сатирические куплеты для цирка, областной эстрады и сатирического радиожурнала «На колючей радиоволне».

Шура подошла к дверям второй комнаты, приотворила дверь и громко сказала:

— Сережа, к тебе посетитель.

Отец сидел за машинкой и что-то на ней выстукивал. Когда я вошел, он обернулся и обрадовался то ли моему появлению, то ли возможности оторваться от работы. Встал и протянул мне руку:

— Здорово! В гости пришел?

— Ага,— сказал я.

— Садись,— он повернул ко мне кресло и сам сел на стул возле окна.— А я тут, понимаешь, сижу вот целыми днями, барабаню на машинке, даже пальцы болят. Ну, что у тебя нового?

— Ничего особенного,— сказал я.— Просто я ухожу в армию.

— То есть как в армию? — удивился отец.

— Ну пока что еще не совсем в армию,— сказал я,— пока на комиссию, но раз остриженный — значит, уже все.

— Черт, как это все неожиданно,— пробормотал отец.— А что ж с институтом, ничего не вышло?

— Не хочу я в институт,— сказал я.— Если возьмут, пойду в летное училище.

— Мне мама говорила. Ну, я даже не знаю, как к этому отнестись. Ты должен все тщательно продумать, потому что профессия — такая вещь, которую надо выбирать на всю жизнь. Поэтому ты должен трезво подумать, может быть, это просто временное юношеское увлечение, и не больше. Профессия летчика уже давно перестала быть романтической. Но с институтом, конечно, можно и не спешить. Я учился после войны, будучи уже совершенно взрослым человеком. Ты уже в садик ходил.

Я вспомнил, что именно в то время, когда я ходил в садик, он от нас и ушел. Отец, видимо, тоже вспомнил это же, потому что в этот момент он смешался. Да, как раз когда я ходил в садик, Шура было примерно столько лет, сколько мне сейчас, они вместе учились в университете, и там у них это все получилось.

Шура просунула голову в дверь:

— Вы обедать будете?

— Конечно, будем,— сказал отец.

— Ну так идите, уже готово.

— Сейчас,— отец подождал, пока она скрылась, вернулся ко мне:— Да, ты знаешь, Валера, я хочу тебя попросить об одной вещи, мне, правда, как-то очень неловко...— Он замаялся и понизил голос:— Но па всякий случай, если за столом зайдет какой-нибудь разговор, не говори, что я деньги вам приношу и все такое. Нет, ты ничего такого не подумай, это все неважно и деньгами я распоряжаюсь сам, но чтобы просто не было лишних разговоров.

Он встал, и я встал тоже. Я посмотрел на него. Он быстро отвел от меня взгляд и стал в замешательстве перебирать на столе бумаги. Он был в эту минуту такой жалкий, что мне стало как-то не по себе. Ведь мать мне всегда говорила и я сам это знал, что отец мой очень хороший и умный человек. И как же так получается, что из-за какой-то женщины, как бы ею ни дорожил, он позволяет себе говорить такие слова? Но я, конечно, ничего ему не сказал. Я только пробормотал невнятно:

— Хорошо, папа.

— Ну, ладно,— сказал он с наигранной бодростью, как бы давая понять, что разговор на эту щекотливую тему окончен.— Пошли обедать.

Мы вышли в большую комнату. Стол был уже накрыт. Шура разливала суп по тарелкам.

— Водку пить будете? — спросила она.

— Конечно, будем,— сказал отец и подмигнул мне.— Употребляешь?

— Да так,— сказал я,— если в компании.

— Ну, сегодня сам бог велел,— сказал отец.

Шура пошла на кухню и принесла начатую поллитровку «столичной» и три рюмки.

— Ты знаешь,— спросил ее отец,— что Валерка в армию уходит?

— В армию? — Она расставляла рюмки и была очень занята этим делом. — Когда?

— На днях,— сказал я.

— И в какие же части?

— Пока неизвестно.

Шура пробежала взглядом по столу — все ли в порядке — и села. Мы сели тоже.

— Ну что ж,— сказала Шура,— армия приучает человека к дисциплине. Мой начальник Алексей Аркадьевич всегда говорит, что он многими своими качествами обязан именно армии. Ну так что? — Она посмотрела на меня, потом на отца: — За него и выпьем?

— Да, конечно,— сказал отец.

Мы подняли рюмки и чокнулись.

— Ну, будь здоров!

Мы выпили. Все потянулись вилками к селедке, лежавшей на блюде посреди стола. Она была жирная, густо посыпана луком.

— Селедка — прелесть, правда? — отец обратился ко мне.

Селедка как селедка.

— Хорошая,— сказал я.

— Шура очень хорошо умеет ее разделявать.

— Ладно подлизываться,— сказала Шура, подвигая к себе тарелку с супом.

Мы, как по команде, дружно застучали ложками.

— Ты писать-то хоть будешь? — спросил отец.

— Конечно,— сказал я.

— Хоть изредка,— сказал отец.

— Раз в неделю,— пообещал я.

— Нет, раз в неделю не будешь,— сказал отец. — Надоест. По себе знаю. Я сам, когда служил в армии, даже во время войны, не очень любил писать письма. Так что, если раз в месяц черкнешь пару строк — жив-здоров, и то будет хорошо.

Мы долго и сосредоточенно ели суп, потом Шура положила нам в эти же тарелки жаркое. Мы молчали, я несколько раз поднимал глаза, встречался со взглядом отца, и взгляд этот был очень жалостливый.

Мне казалось, что отец что-то хочет сказать, да все как-то то ли не решается, то ли не знает, с чего начать. Потом он положил вилку, посмотрел на меня в упор и сказал неожиданно:

— А ты вообще понимаешь, что сейчас происходит?

— В каком смысле? — спросил я.

— В обыкновенном. Твое детство и юность кончились. Начинается новая, трудная жизнь. До меня это как-то не сразу дошло. А до тебя дойдет и подавно нескоро. Все слишком неожиданно. Надо бы тебе подарить что-нибудь.

— Не надо мне ничего, папа, — запротестовал я.

— Нет, надо.

Он быстро снял с руки свои часы и протянул мне:

— Держи.

Шура метнула на меня быстрый взгляд и сосредоточенно стала напизывать картошку на вилку. Надвигалась гроза. Я это понял по тому, как напряглась Шура.

— Не надо, — сказал я, следя за ее движениями.

— Надо, — настойчиво сказал отец. Он перегнулся через стол и надел мне часы на руку.

— В самом деле, зачем мальчику золотые часы? — не выдержала Шура.

— Он не мальчик, — строго сказал отец, — он в армию уходит.

— Дело, конечно, твое, — пожала плечами Шура. — Только их у него украдут. Алексей Аркадьевич говорил, что у него однажды из-под подушки вытащили фотоаппарат.

— Меня совершенно не интересует, что говорит твой Алексей Аркадьевич. Это мой сын и мои часы. И я имею полное право, никого не спрашивая, подарить свои часы своему сыну.

— Пожалуйста, делай что хочешь, я тебе ничего не говорю, — обиделась Шура.

— Нет, ты говоришь, — повысил голос отец. — Ты говоришь совершенно определенно, что я не должен дарить свои часы своему сыну.

Шура ничего не ответила, уткнулась глазами в тарелку. Наступило долгое, тягостное молчание.

Шура отодвинула тарелку, встала.

— Когда поешь,— сказала она отцу,— убери, пожалуйста, со стола.— И ушла в соседнюю комнату.

Отец посмотрел на меня виновато.

— Обиделась,— сказал он.— Ты не думай, она хорошая, только иногда скажет что-нибудь не подумав, потом сама жалеет.

Из соседней комнаты снова вышла Шура. Она уже оделась и расколола волосы. Вид у нее был деловой.

— Ты не знаешь, где расческа? — спросила она.

— Ты собираешься уходить? — спросил отец.

— Да.

— Совсем?

— Совсем. Можешь оставаться один и создавать свои великие творения в одиночестве. Валера, ты можешь гордиться своим отцом. Он у тебя писатель. Инженер человеческих душ. Он пишет репризы для цирка. «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». — «Ха-ха-ха!»

Она нашла расческу и снова ушла в другую комнату.

— Ничего, это пройдет,— сказал мне отец.— Ты не обращай внимания.

— Я не обращаю,— ответил я.

Снова вышла Шура. В руках она держала несколько листов бумаги.

— Валера,— сказала она,— ты знаешь, что твой отец пишет роман?

— Шура,— тихо сказал отец,— неужели тебе не стыдно?

— Мне очень стыдно,— сказала Шура и подняла листочки над собой.— Вот многолетний труд. Семнадцать страниц за двенадцать лет. Взыскательный художник! А какой стиль! — Она поднесла бумагу к глазам, прочла первую строчку:— «Море было зеленое». Море было зеленое... — Она повернулась к отцу:— Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Море бывает всякое,— сказал отец.— Синее, лиловое, черное, зеленое и даже, если хочешь знать, красное во время заката.

— Валера,— сказала Шура,— ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Я море вообще не видел,— сказал я поспешно.

— Очень жаль,— сказала Шура и ушла снова в другую комнату.

Отец стоял, обхватив руками голову.

— Какой стыд! — бормотал оп.— Какой стыд!

Мне стало неловко, я понял, что делать здесь больше нечего.

— Я пойду, папа,— сказал я.

— Ладно, иди,— вздохнул отец.— Только матери не рассказывай. Ладно?

— Ладно. До свиданья, папа.

— Что же ты так уходишь? Я уезжаю в командировку и, наверное, не смогу тебя проводить. Давай простимся, как полагается.

Мы обнялись. За его спиной я незаметно снял с руки часы и положил на стол. Отец прошел со мной до дверей и хлопнул меня по плечу ободряюще:

— Не забывай, пиши.

— Ладно,— еще раз пообещал я.

Я опустил на одну площадку. Я посмотрел на отца, и мне показалось, что у него глаза полны слез. Я нагнул голову и медленно пошел по лестнице дальше.

Еще когда я учился, в десятом классе у нас был такой случай. Боб Карасев объяснился в любви Ленке Проскуриной, с которой сидел за одной партой. Ленка сказала ему: «Нет». Тогда Боб пошел домой, напустил полную ванну воды, залез в воду и вскрыл себе вены лезвием от безопасной бритвы. Его потом еле спасли.

Таких людей, как Боб, я не понимал никогда. Любил ли я кого-нибудь в жизни? Маму любил. Бабушку, несмотря ни на что, любил. А так, чтобы влюбиться в какую-нибудь девчонку, да еще резать из-за нее вены,— на это я никогда не был способен. Может быть, это плохо. Учительница химии Леонила Максимовна говорила, что настоящий человек должен по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть. Ненавидел ли я кого-нибудь? Нет, пожалуй. Может, некого было. За всю жизнь не было у меня никаких врагов; были, правда, кое с кем мелкие стычки, но они быстро забывались, и все проходило. Я не умел долго ни злиться, ни обижаться на кого-нибудь и не понимал людей

злопамятных, обидчивых, непримиримых. Впрочем, я много не понимал. Не понимал своего отца. Я бы понял, если бы знал, что с мамой ему было плохо, а с новой женой хорошо. Но он любил меня и хорошо относился к маме, а жил все-таки с этой женщиной, которая его не любила. Я был уверен, что она его не любила. Но он, наверное, думал иначе.

Я шел по широкой улице, где проносились автомобили и гремели трамваи. Скупое светило неяркое, но пока еще теплое осеннее солнце. Забираться в трамвай не хотелось, я шел пешком. Пройдя несколько остановок, я увидел на противоположной стороне улицы парикмахерскую, вспомнил, что мне надо постричься. На призывной пункт полагалось явиться постриженным под машинку — это указано было в повестке.

В парикмахерской все мастера были заняты.

Очередь впереди меня состояла из одного старичка с аккуратно протянутыми через обширную плешь длинными и редкими рыжеватыми прядями. Он сидел за низким полированным столиком и листал старые газеты. Я тоже взял со стола газету и стал ее разглядывать.

В это время из зала вышел очередной клиент, от него так и несло одеколоном. Старичок, который был передо мной, с газетой в руках подошел к двери, заглянул в зал и сказал мне:

— Идите. У меня постоянный мастер.

Тоже еще мне, старый пижон! У него постоянный, видите ли, мастер.

Я положил газету и встал.

— Следующий! — сказала парикмахерша и обернулась. И я ее сразу узнал. Это была Таня. И как это я мог думать, что не узнаю ее?

— Привет, — сказал я, подходя к ее креслу.

— Здравсьте, — сказала она, — садитесь. Польку или полубокс?

— Под ноль, — сказал я. — Ты меня разве не узнаешь?

Она равнодушно скользнула взглядом по моему отражению в зеркале и сменила ножи в электрической машинке.

— Не узнаю.

— Я — Валерка, — сказал я, задирая к ней голову. — Помнишь, в милиции вместе сидели?

— Не помню.

— Как же, — обиделся я. — А потом мы с тобой гуляли, стояли на лестничной площадке и даже... Ну разве не помнишь?

— Не помню, — жестоко повторила она и сильно надавила мне пальцами голову. — Не вертись.

Опа включила машинку и провела первую борозду посреди головы. Первые пряди моей роскошной прически упали на белое покрывало.

Опа нагнулась ко мне и тихо спросила:

— Целоваться-то научился?

— Узнала? — обрадовался я.

— Сразу узнала, — сказала она. — Еще как ты первый раз заглянул, я тебя в зеркало увидела. В армию, что ли, уходишь?

— Откуда ты знаешь?

— По прическе догадалась. Жалко, волосы хорошие.

Ровно гудела машинка, и Таия деловито водила ею по моей голове, и я смотрел на свое отражение, которое казалось мне все более уродливым.

— Голова у тебя какая-то шишковатая, — сказала Таия. — Говорят, такие только у умных людей бывают.

— Что ж ты тогда не пришла? — спросил я. — Когда у часов договаривались встретиться.

— А ты разве приходил?

— А как же. Я там полтора часа проторчал.

— Полтора часа? — удивилась она. — А я, знаешь, не хожу на эти свиданки. Договорись с каким, так он тебя обманет, пойдешь — одно расстройство.

Я посмотрел в зеркало на свой безобразно голый череп и без всякой надежды спросил:

— Может, тогда сегодня встретимся?

— Можно, — сказала она, сдергивая покрывало. — Пятнадцать копеек.

Мы подошли к кассе, я заплатил, а она расписалась в ведомости.

— Я в семь часов кончаю работу. Приходи сюда. — Она обернулась к двери: — Следующий!

Вечером мы сидели в парке на лавочке недалеко от

плакатной экспозиции «Мы покоряем космос». Вращающийся фонтан рассыпал по кругу сверкающие в электрическом свете брызги. По радио кто-то читал «Моцарта и Сальери» таким голосом, будто передавал сообщение ТАСС.

Рядом с нами сидели молодые муж и жена, оба в серых костюмах. Муж покачивал стоящую перед ним детскую коляску, равнодушно глядя на проходящих мимо людей.

На открытой эстраде шел концерт, приятный женский голос исполнял самую популярную песню сезона «Ты не печалься, ты не прощайся».

— Это хорошо, что ты пришел в парикмахерскую, — неожиданно сказала Таня. — Если б я тебя встретила на улице или хотя бы здесь, в парке, первая ни за что бы не подошла.

— Это еще почему? — удивился я.

— Из гордости. Как говорится, чем девушка горже и грубей, тем лучше качество у ней, — сказала она со значением.

— Как? — не понял я.

Она повторила.

— И у тебя хорошее качество? — поинтересовался я.

— У меня очень хорошее, — ответила она серьезно, но тут же поправилась: — Смотря, конечно, в каком смысле. Если насчет характера, то ты не надейся, от меня просто так ничего не добьешься.

— Да я от тебя ничего не хочу добиваться, — смутился я. — Я просто так, встретил тебя и позвал. Если не хотела, могла не идти.

— Нет, я вообще-то не против, если по-человечески, с уважением, если погулять хорошо да подружиться месяц-другой, а не в виде корыстных целей.

— Да что ты несешь? — возмутился я. — Какие у меня могут быть к тебе корыстные цели?

Вот уж не думал, что такая дура. На вид вроде нормальная, тогда, в милиции, мне даже понравилась, а тут на тебе — прорвало. Я уже пожалел, что пригласил ее в парк. Лучше б дома лежал, книжку читал.

На летней эстраде раздались аплодисменты, а потом, видно на «бис», певица снова запела «Ты не печалься».

— Я раньше тоже пела в самодеятельности, — ска-

зала Таня.— Исполняла романсы. «Средь шумного бала, случайно...» — закричала она нараспев дурным голосом.

Ребенок в коляске проснулся и заплакал. Отец зашикал на него и стал остервенело трясти коляску. Женщина посмотрела на Таню осуждающе и сказала:

— Можно бы и потише. Ребенка вот разбудили.

— С ребенком надо в детский парк ходить,— огрызнулась Татьяна.— А это взрослый, культуры и отдыха.

— У вас-то никакой культуры и нет,— сказала женщина.

— А у вас есть? — поинтересовалась Таня.

Я не знал, как себя вести. Первым нашел выход из положения молодой отец.

— Пошли,— коротко приказал он жене и, поднявшись, пошел в сторону танцплощадки, толкая перед собой орущую во весь голос коляску. Женщина тоже поднялась и пошла следом.

— Культурная! — крикнула вслед ей Таня.— Ты хоть рубашку убрала бы под платье, культура! — довольная, она повернулась ко мне:— Ничего я ее отшила, скажи?

— Ничего,— сказал я.— Можешь за себя постоять.

— Да уж спуску не дам никому, пожалуй,— сказала она с сознанием собственного достоинства.— Меня отец так учил. У тебя-то отец есть?

— Есть,— сказал я.

— А где он работает?

— Дома.

— Кто ж это дома работает? — не поверила она.

— Отец. Он писатель,— пояснил я неохотно.

— Писатель? — Она посмотрела на меня недоверчиво.— И чего же он написал?

— Он пишет репризы для цирка. Знаешь, что такое репризы?

— Нет.

— Ну вот, например: «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». — «Ха-ха-ха!»

Реприза произвела неожиданный для меня эффект. Таня задержалась и тихо поползла с лавки.

— Ты что? — я подхватил ее под мышки, чтобы она не свалилась.

— Теща? — со слезами повторяла она, корчась от смеха. — Ой, не могу! Теща в чемодане! А как же она туда попала?

— В каком смысле? — не понял я.

— Я спрашиваю: чемодан большой или теща маленькая?

— А черт ее знает!

Мне стало скучно. Я подумал, что хорошо бы найти где-нибудь Толика, может, он хоть отчасти взял бы ее на себя. Я даже посмотрел в оба конца аллеи в надежде, что он откуда-нибудь да появится, но его нигде не было видно, и я совсем скис. Черт знает что! Через несколько дней в армию, каждый вечер на учете, а тут сиди и думай, как теща могла попасть в чемодан. Мне уж пора о своем чемодане подумать. Хотя думать, собственно, о нем нечего. Только бы как-нибудь не промахнуться, попасть в училище. А то вдруг запихнут в пехоту и будешь — «кругом, бегом, встать, ложись». И так три года. А три года — это почти институт.

Я думал о своих делах, а Таня что-то рассказывала. Я ее не слушал, но она не замечала, потому что ей надо было рассказывать независимо от того, слушают ее или нет.

— А вот когда я была совсем маленькая... — сказала она и вдруг замолчала.

Я обратил внимание на эту фразу только потому, что она была последняя.

— И что было, когда ты была маленькая? — спросил я.

Она ничего не ответила. Я заметил, что она как-то странно жметя ко мне плечом, а лицо отвернула и закрыла рукой, словно пыталась спрятаться от кого-то.

— Что с тобой? — спросил я.

— Молчи! — ответила она шепотом.

Я бросил взгляд на аллею и тут же все понял. Медленной походкой к нам приближался Козуб. Он был гладко прилизан, в черном костюме, с черным галстуком-бабочкой на белой рубахе.

— Здравствуй! — поприветствовал он, поравнявшись со мной, и остановился.

— Привет! — ответил я неохотно.

Таня все еще прикрывала лицо ладонью.

— Чего прячешься? — обратился к ней Козуб. — Чего прячешься? — повторил он свой вопрос.

— А я и не прячусь, — Таня убрала руку. — Просто так заслонила, смотреть на тебя неохота.

— Неохота, — запищел Козуб, приближаясь к ней. — А когда я на тебя деньги тратил, охота была? У, сука позорная, сейчас тебе глаз выну, — с этими словами он ткнул ей пальцем в лицо, но она вовремя увернулась.

Мне ничего не оставалось больше делать, как встать между ними.

— Отойди, — сказал я Козубу и подвинул его плечом.

— Не лезь! — окрысился на меня Козуб. — Не лезь, говорю, если не хочешь по мозгам заработать.

Я разозлился. Обидно, когда тебе так угрожают, да еще вот при девушке. И тут у нас пошел дурацкий такой разговор:

— От тебя, что ли, я заработаю? — спросил я.

— А хоть бы и от меня.

— Смотри, как бы сам не схватил по шее.

— Уж я-то не схвачу.

— А если схватишь?

— Пошли потолкуем.

Козуб схватил меня за рукав и потащил к кустам. Я вырвал руку и пошел следом за ним. Мы стали за кустами друг против друга, чтобы продолжить наш содержательный разговор.

— Ну, чего надо? — спросил Козуб, задыхаясь от ярости.

— А тебе чего?

— А мне ничего.

— Ну и мне ничего. А девушку не трогай.

Козуб скривился презрительно:

— Девушку. Да у этой девушки таких, как ты, знаешь сколько было?

Я схватил его за галстук.

— Давай отсюда проваливай, а то я тебе не знаю что сделаю.

Этого я действительно не знал.

Козуб вырвался, поправил галстук.

— Ты рукам воли не давай, — сказал он, охорашива-

ясь передо мной, как перед зеркалом.— Жалко, тут мусора ходят, а то бы я тебе сейчас рыло начистил.

Он положил руки в карманы и наискось через газон пошел в сторону танцплощадки. Я вернулся к Тане. Она сидела не шелохнувшись на прежнем месте.

Я сел с ней рядом. Не поднимая головы, острым носком туфли она чертила что-то перед собой на песке. Я достал сигареты.

— Дай закурить,— попросила она.

Я дал. Прикуривая, она бросила на меня быстрый, настороженный взгляд.

— Ты думаешь, у меня с ним чего было? — спросила она.

— А мне все равно,— сказал я.

Мне действительно было все равно.

— До чего ж противные мужики,— сказала она с чувством.— Два раза в ресторан сводил и думает, что теперь я ему все должна.

— Ладно, пошли отсюда,— сказал я.

Она мне за этот вечер порядком поднадоела. А впереди еще предстоял длинный путь до ее дома с разговорами. Молчать, судя по всему, она не умела.

На мое счастье, у выхода из парка нам встретился Толик. Оп куда-то торопился, идя нам навстречу, и лицо его выражало крайнюю озабоченность. Я загородил ему дорогу, он наткнулся на меня и долго стоял, ничего не понимая, словно соображал, как преодолеть это неожиданно возникшее на пути препятствие.

— Ты куда? — спросил я.

— Да я... это самое... Слушай,— он приходил потихоньку в себя,— ты не видел этих самых... как их... Олю и Полю?

— Нет,— сказал я,— не видел.

— Вот бабы! Никогда нельзя верить. Договорились в кино смотаться, я пошел доставать деньги, вернулся, а их уже нет.

Таня стояла в стороне, разглядывая фотовитрину «Не проходите мимо».

— Да брось их,— сказал я Толику.— Пошли лучше с нами,— я кивнул в сторону Тани.

Увидев Таню, Толик оживился.

— Твоя, что ли? — спросил он шепотом.

— Ага,— ответил я равнодушно.— Ты же ее знаешь.

— Вообще-то знаю, но незнаком,— сказал Толик грустно.— Баба, конечно, в порядке.

— Бери ее себе,— щедро предложил я.

— А ты как же? — спросил он.

— Ничего,— сказал я.— Как-нибудь перебьюсь.

Мы подошли к Тане, и я их познакомил. Толик протянул ей руку и представился, как всегда, со значением:

— Анатолий.

Она ответила:

— Очень приятно.

Мы вышли из парка. Из-за крыши домов выступила полная луна. Она светила так ярко, что вполне можно было выключить в городе все электричество.

Толик и Таня быстро нашли общий язык. Когда мы выходили на пустырь, Толик сказал ей почти серьезно:

— Если бы мне попалась такая девчонка, я бы на ней женился.

— Шуты любя, но не люби шутя,— обиделась Таня.

— Да я разве шучу? — сказал Толик.— Я серьезно.

— В армии сперва отслужи, а потом женихайся.

— А что армия? — возразил Толик.— В армии женатому — милое дело. Жена когда посылочку пришлет, когда сама придет.

— Ну, давайте я вас зарегистрирую,— предложил я, кивнув в сторону темневшего впереди будущего Дворца бракосочетания.

Идея пришлась Толику по вкусу, но Таня обиделась.

— Найди себе какую-нибудь дурочку и с ней шутки шути,— сказала она.— А я — за серьезные отношения.

Домой мы с Толиком возвращались во втором часу ночи. Небо было затянуто тонкими облаками. Лунный свет сочился сквозь облака, расплываясь, как масло на сковородке. Единственная лампочка возле Дворца бракосочетания теперь горела ярко и весело.

Если бы знать, что ждет нас возле этого Дворца, мы бы обошли его стороной, но мы ничего не знали и поэтому шли мимо него напрямую — оба торопились домой.

Когда мы их увидели, было слишком поздно менять направление. Их было человек шесть или семь. Они стояли кучкой возле стены и вполголоса переговаривались. Отдельных слов не было слышно, шел только общий гул от общего разговора. Я толкнул Толика в бок, но он уже сам все увидел. Не сговариваясь, мы замолчали и стали забирать темного в сторону, хотя надо было просто повернуть и бежать со всех ног обратно. Но было бы странно и стыдно бежать ни с того ни с сего, просто увидев людей, которые стоят и мирно разговаривают между собой.

— Эй, ребята! — от стены отделилась длинная темная фигура и направилась к нам.

— Грек! — упавшим от страха голосом шепнул Толик.

Тут уж надо было бежать не раздумывая, но мы стояли как вкопанные, я почувствовал в коленях такую слабость, что, если бы и захотел, вряд ли смог двинуться с места.

Грек подошел вплотную. От него несло водкой, но на вид он был совершенно трезв. Он только сутулился и поживался: видно, давно здесь стоял и продрог.

— Ребята, закурить есть? — спросил он миролюбиво.

— У него есть, — услужливо сказал Толик, кивнув в мою сторону.

Делать было нечего. Я достал сигареты и молча протянул Греку.

В конце концов, может, правда человеку надо просто закурить, и ничего больше. Если разобраться, мы же их не трогаем, идем себе мимо. И нас совершенно не касается, зачем они здесь собрались и что делают.

Грек повертел в руках сигареты, вынул одну и засунул обратно.

— «Памир» я не курю. У меня от них горло дерет, — сказал он и швырнул сигареты на землю.

— Зачем же бросать сигареты? — не удержался я.

Когда мне хочется что-то сказать, я говорю, не думая о последствиях. Такой дурацкий характер.

— Да что тебе, жалко? — поспешил исправить мою ошибку Толик. Он нагнулся и поднял сигареты. — На вот.

Грек резко ударил его по руке. Сигареты снова упали на землю.

— Никогда не подбирай ничего с земли,— сказал он и, обернувшись, крикнул в темноту:— Козуб!

От стены отделилась еще одна темная фигура и приблизилась к нам. Теперь все было более или менее ясно. Козуб пожаловался Греку. Теперь меня будут бить. И Толика за компанию, наверное, тоже.

— У тебя какие сигареты? — спросил Грек, когда Козуб подошел.

— «Шипка»,— Козуб торопливо полез в карман.

— Это другое дело,— удовлетворенно сказал Грек.

Козуб протянул ему сигареты и зажигалку. Вспыхнул огонь, и запахло бензином. Прикурив, Грек поднес зажигалку прямо к моему носу, я слегка отстранился.

— Этот, что ли? — спросил Грек.

— Этот,— тихо ответил Козуб.

В то же мгновение я получил такой удар в нос, что у меня потемнело в глазах. На ногах я все-таки удержался. Я взвыл от боли и кинулся на Грека, но не смог его ударить ни разу: какие-то два типа из этой компании подскочили и схватили меня сзади за руки. Я попробовал отбиваться ногами, но тут подскочил кто-то третий. Он лег на землю и обхватил мои ноги руками.

— За что вы меня бьете? — спросил я.

Вопрос был, конечно, бессмысленным.

— Мы не бьем, а наказываем,— сказал Грек.— Ты зачем обижал нашего товарища? — Он кивнул на Козуба.

— Да кто его обижал? Я просто заступился за девушку.

И я начал путано объяснять, что, когда Козуб приставал к Тане, у меня просто не было никакого другого выхода, что любой на моем месте поступил бы точно так же.

Грек меня выслушал очень внимательно.

— Значит, ты считаешь, что Козуб был неправ? — спросил он участливо.

— Да,— сказал я.

Он повернулся к Козубу.

— Ты слышал, что он говорит?

— Слышал,— ответил Козуб.

— И что же ты терпишь? А ну вмажь ему, чтоб было все справедливо.

Козуб не заставил себя долго упрашивать. От второго удара у меня потекла из носа кровь.

— Ребята, да бросьте вы,— запыл неожиданно Толик.— Неужели из-за какой-то бабы нужно бить человека? Ну, побаловались, и ладно. Пошли по домам.

Грек повернулся к нему, Толик умолк и испуганно сжегился.

— Ты кто такой? — спросил Грек.

— Это его дружок,— сообщил Козуб.— Они вместе работают.

— Дружок? — оживился Грек. Ему в голову пришла замечательная идея.— А ну врежь-ка ему по-дружески.— Он подтолкнул Толика ко мне.

Толик попятился назад.

— Да ну бросьте шутить, ребята! — На своем лице он изобразил понимающую улыбку.— Уже поздно, домой пора, ребята, не надо шутить.

— А с тобой никто и не шутит,— Грек снова толкнул его вперед.— Врежь, тебе говорят, и пойдём по домам.

Толик отпрыгнул в сторону, хотел убежать, но Грек вовремя подставил ногу, и Толик упал.

— Ребята, отпустите! — закричал он.— У меня мать больная, у меня отец инвалид Отечественной войны!

Он боялся подняться и ползал на четвереньках, пытаясь уползти прочь, но, куда бы он ни поворачивался, всюду натыкался на чьи-то ботинки, кто-то загораживал ему путь из этого круга. Потом Грек схватил его за шиворот и сильно встряхнул. Затрещала рубаха. Толик вскочил на ноги, заметался, обращаясь то к Греку, то к Козубу, то ко мне:

— Ребята, ну что вы? Ну бросьте! Ну зачем?

Грек схватил его снова за шиворот и подтащил ко мне. Толик хныкал и пытался сопротивляться.

— Бей! — с угрозой сказал ему Грек.

— Валерка,— заплакал Толик,— ты же видишь — я не хочу, они меня заставляют.

— Бей! — повторил Грек и ребром ладони ударил его по шее.

Толик нерешительно поднял руку, мазнул меня по ще-

ке и повернулся к Греку, глазами умоляя его отпустить. Греку было мало и этого.

— Разве так бьют? — сказал он. — Бей, как положено.

— Не могу, — сказал Толик, пятась прочь от меня. — Слышь, Грек, я не могу. У меня мать больная, у меня отец...

— Сможешь, — сказал Грек.

Он схватил Толика за ворот так, что даже в темноте мне показалось, что лицо Толика посинело. Толик беспомощно засучил ногами.

— Ну! — Грек подтянул Толика снова ко мне и отпустил.

— Грек, — заплакал Толик, — отпусти. Отпусти, слышь, я тебя очень прошу.

Подлетел Козуб.

— Ах ты, гад! Бей, говорят тебе!

Изо всей силы он дал Толику пинка под зад. Толик, схватившись за зад, завыл и вдруг с нечеловеческим воплем бросился на меня.

Меня крепко держали, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я мог только вертеть головой. И когда я наклонял голову, Толик бил меня снизу, а когда я пытался отвернуться, он бил сбоку.

Я очнулся от холода, а может быть, оттого, что пришло время очнуться, и, придя в себя, почувствовал холод. Сначала мне показалось, что я лежу дома на кровати и с меня сползло одеяло. Не открывая глаз, я пошарил рукой возле себя, и рука прошла по чему-то мокрому, как я потом понял — это была облитая росой трава. Тогда я открыл глаза, но ничего не увидел. Так бывает, когда тебя мучат кошмары, — ты заставляешь себя проснуться и вроде уже даже проснулся, но все еще видишь кошмары, и надо приложить нечеловеческие усилия, чтобы разодрать веки по-настоящему.

Приложив нечеловеческие усилия, я увидел перед собой Толика. Он сидел сторбившись надо мной и, глядя куда-то мимо, громко икал. Лицо его мне показалось большим и расплывчатым, оно заслоняло все небо. Небо было

бледное, с красными отблесками на перистых облаках,— дело, видимо, шло к рассвету.

Увидев, что я очнулся, Толик перестал икать и уставился на меня с выражением не то страха, не то любопытства.

— Ты меня видишь? — тихо спросил он.

Я его видел сквозь какие-то щелки, все распухло, было такое ощущение, словно на лицо положили подушку и проткнули в ней маленькие дырки для глаз.

— Вижу,— сказал я.

Тогда Толик лег на меня и, затрясшись всем телом, заплакал прерывисто, гулко и хрипло, словно залаял.

— Валера, прости меня,— причитал он, и слезы падали мне на рубашку.— Валера, я сволочь, я гад. Ты слышишь? Гад я самый последний.

До моего сознания смутно дошла ночная сцена, но это воспоминание не вызвало во мне никаких чувств, никаких мыслей. Боли не было. Были только холод, ощущение распухшего тела, большого, как дирижабль, и ощущение тяжести.

— Слезь с меня,— сказал я Толику.— Слезь с меня, пожалуйста, мне тяжело.

Мне казалось, что как только он слезет, оболочка моя еще больше раздуется и я полечу легко и свободно к теплему солнцу, которое скоро взойдет.

— Валера, я гад! — выкрикнул Толик.— Ты слышишь, я гад! Ты понял меня?

— Понял,— сказал я,— только пожалуйста, слезь.

Всхлипывая и размазывая рукавом слезы, Толик сполз и поднялся на ноги.

Ощущение тяжести не прошло, не было сил подняться. Тогда я перевернулся спиной вверх, подтянул колени к животу, встал сначала на четвереньки и только после этого смог подняться во весь рост.

Было по-прежнему сыро и холодно. Колени дрожали, расплзаясь в разные стороны, не было никаких сил справиться с ними.

Небо заметно бледнело. На его просветлевшем фоне резко чернели четкие контуры Дворца бракосочетания в стиле Корбузье, с шестигранными колоннами, стоявшими как бы отдельно.

Я повернулся и, медленно передвигая ноги, пошел в сторону города с разновысокими коробками домов, в которых не горело еще ни одно окно, потому что было пока слишком рано.

Толик плелся позади меня, шагах в двух.

Мама с бабушкой, увидев меня, пришли в неопиcуемый ужас. Я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. Я испугался, что теперь не пройду комиссию. Впрочем, до комиссии все прошло. Остался только небольшой сипяк возле левого глаза.

И вот наступил последний день. Я проснулся, когда на улице было еще темно. Но мама и бабушка уже поднялись. Узкая полоса света лежала под дверью. Там, за дверью, шла тихая суматоха, шаркали ноги и слышались приглушенные голоса. Я прислушался. Разговор шел о моей старой куртке, которую бабушка недавно перешивала. Мама ругала бабушку:

— Ты стала совсем ребенком. Ничего нельзя поручить. Я тебя просила положить куртку в шкаф для белья.

— Именно туда я ее и положила, — сказала бабушка, — это я хорошо помню.

— Тогда где же она?

— Я же тебе говорю: положила в шкаф. И даже персыпала нафталином.

— Если бы ты положила в шкаф, она бы лежала в шкафу.

Я встал и вышел в соседнюю комнату.

— Что вы ругаетесь? — сказал я.

Бабушка и мама стояли посреди комнаты, а между ними на стуле лежал чемодан с откинутой крышкой.

— Я отдал куртку Толику протирать мотороллер.

— Как отдал? — возмутилась бабушка.

— Очень просто. Все равно носить ее я бы не стал.

— Зачем же я ее тогда перешивала? — грозно спросила бабушка.

— Этого я не знаю, — сказал я. — Я не просил.

— Ну вот, пожалуйста, — сказала бабушка, обращаясь

к маме, — плоды твоего воспитания. Полнейшая бесхозяйственность.

— Ну, отдал так отдал, — сказала мама примирительно. — Не будем ругаться в последний день. Только я думала, что в армии она тебе еще пригодится. Там ведь не очень тепло одевают.

— Там бы ее у меня все равно отобрали, — сказал я и пошел в ванную.

Я посмотрел на себя в зеркало. Вид у меня был вполне нормальный. Только под левым глазом остался синяк, совсем небольшой, не больше обыкновенной сливы.

А в то утро все лицо было — сплошной синяк.

Мать хотела, чтобы я снял побои и подал в суд на Грека, но я не стал, не хотелось впутывать Толика, который тоже приложил к этому делу руку, если в данном случае можно так выразиться.

Матери про Толика я ничего не сказал. Зачем?

Я долго стоял под душем, и теплые струи воды обтекали меня. Мне было приятно и грустно и вдруг захотелось остаться дома и никуда не ехать. И я подумал, что, может быть, мне не раз еще захочется жить вот так, ругаясь с мамой и бабушкой, но этого уже никогда не будет, и если меня будут ругать, то не мама, не бабушка, а другие, чужие люди, которым моя судьба, может быть, безразлична.

Когда я вышел из ванны, в комнате царил мир и согласие. Мама перед зеркалом красила губы, а бабушка гладила на столе свою юбку. Чемодан был уже закрыт, а возле него на полу стояла старая хозяйственная сумка.

Она была доверху набита чем-то съедобным, сверху из нее торчала куриная нога.

— Это что такое? — спросил я.

— Это курица, — сказала мама.

— Нет, я спрашиваю вообще, что это за сумка?

— Это мы с мамой, — обернулась бабушка, — приготовили тебе еду на дорогу.

— И вы думаете, что я в нашу Советскую Армию поеду с этой хозяйственной сумкой? Чудаки! Да надо мной вот эти куры, которых вы сюда положили, смеяться будут.

— А что же делать, если в чемодан ничего не влезает? — сказала мать.

— В такой большой чемодан ничего не влезло? А что вы туда положили?

— Самое необходимое,— бабушка вызывающе поджала губы.

— Сейчас я проверю,— сказал я и открыл чемодан.

Ну и, конечно, я там нашел много интересных вещей. Сверху лежало что-то зеленое. Я взял это двумя пальцами и поднял в вытянутой руке.

— Что это? — спросил я брезгливо.

— Разве ты не видишь? Моя кофта,— невозмутимо ответила бабушка.

— Ты думаешь, я ее буду носить? — спросил я с любопытством.

— А зачем же ты выбросил свою куртку?

— Я не выбросил, а отдал Голику,— сказал я,— но это уже другой вопрос. А я жду ответа на первый. Неужели ты думаешь, что я эту штуку буду носить?

— Ну, а если будет холодно? — вмешалась мама.

— Дорогая мамочка,— сказал я,— неужели ты думаешь, что, если будет семьдесят или даже девяносто градусов мороза и птицы будут замерзать на лету, я надену бабушкину кофту?

Я продолжал ревизию дальше. Кофта в одиночестве пролежала педолго. Скоро над ней вырос небольшой могильный холмик из разных бесценных вещей. Здесь был шарф, лишнее полотенце, две пары теплого белья, которое я и раньше никогда не носил, и еще маленькая шкатулка с домашней аптечкой — средства от головной боли, от насморка, от прочих болезней.

Бабушка и мама молча наблюдали за производимыми мною разрушениями. Я посмотрел на них и жестко сказал:

— Вот так все и будет. Вместо всего этого можно положить часть продуктов, но тоже не злоупотреблять, я проверю.

Я ушел к себе в комнату и стал одеваться. Потом мы втроем позавтракали, и мама ради такого торжественного случая выставила бутылку портвейна. Она налила мне целый стакан, а бабушке и себе по половинке. Я выпил весь стакан сразу и стал есть, а мама с бабушкой только выпили, а есть не стали и смотрели на меня такими печальными глазами, что мне стало не по

себе, и я тоже не доел свой завтрак, половину оставил в тарелке.

Потом я встал из-за стола и хотел пойти в уборную покурить, но мама поняла меня и сказала:

— Можешь курить здесь. Теперь уже все равно.

Я достал сигарету, закурил, но мне было как-то неловко, я сунул окурок в коробок со спичками и спрятал в карман. Мы помолчали. Потом мама спросила:

— Если тебе все-таки понадобятся деньги или какие-нибудь вещи, пиши, не стесняйся.

— Ладно,— сказал я.— Только у папы больше не бери.

— Не буду,— вздохнула мама.

Время приближалось к восьми, мы начали собираться. На улице было тепло, но на всякий случай (все-таки осень) мы с мамой надели плащи, а бабушка свое засаленное рыжее пальто, пуховый платок и взяла палку.

— Ну, ладно,— сказала мама,— присядем на минутку.

И мы присели. Мама с бабушкой на кушетку, а я на чемодан, но осторожно, чтобы не раздавить его. Потом мама посмотрела на часы и встала. И мы с бабушкой тоже встали и пошли к выходу.

В скверике перед вокзалом была уже уйма народу. Люди расположились отдельными кучками на траве. Во главе каждой кучки сидел торжественно остриженный новобранец, одетый во что похуже.

Посреди скверика, возле памятника Карлу Марксу, стоял майор с большим родимым пятном через всю щеку, он держал перед собой список и во все горло выкрикивал фамилии. Возле него стояла кучка новобранцев. Я тоже подошел поближе послушать.

— Петров! — выкрикнул майор.

— Есть! — отозвался стоявший рядом со мной длинный парень в соломенной шляпе.

— Не «есть», а «я», — поправил майор.

Он отметил Петрова в списке, и тот отошел.

— Переверзев! Есть Переверзев?

Майор остановил взгляд на мне.

— Важенина посмотрите, пожалуйста, — сказал я.

— А Переверзева нет?

Переверзев не откликнулся.

— Как фамилия? — переспросил майор. Он меня не узнал.

Я повторил. Майор что-то отметил в списке и сказал:

— Ждите.

Лавируя между кучками провожающих и отъезжающих, я пошел к своим.

Проводы были в самом разгаре. В одной кучке пели:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят.

В другой орали:

Ой, красивы над Волгой закаты,
Ты меня провожала в солдаты...

Веселая девица, покраснев от натуги, выводила визгливым голосом:

Руку жала, провожала,
Провожала. Эх, провожа-ала...

Рядом с ними сидела самая большая куча, человек двадцать, и они, заглушая всех остальных, пели «Я люблю тебя, жизнь».

Когда они спели «и надеюсь, что это взаимно», парень с гитарой тряхнул бритой головой, и все хором грянули:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

Я посмотрел на них. Да это же те самые ребята, которых я видел на лавочке, когда ходил на свидание с Таней.

Потом я остановился еще возле одной группы. Там стриженный, перевязанный полотенцем парень наяривал на гармошке что-то частушечное, а толстая деваха плясала под эту музыку повизгивая, словно ее щекотали.

— Работай! — кричал ей парень с гармошкой.

И она работала вовсю.

Тут меня кто-то окликнул, я обернулся и увидел Толика. Вместе с отцом и матерью он расположился под деревом. На газете у них стояла начатая бутылка водки, бумажные стаканы, лежал толсто нарезанный хлеб, помидоры и колбаса.

— Иди к нам, — сказал Толик.

Я подошел. Отец Толика отодвинулся, освобождая мне место.

— Садись, Валерьян, поспрадуем вместе.

— Меня там ждут, — сказал я.

— Подождут, — сказал отец Толика. — Посиди.

Я сел. Отец Толика был одет торжественно, в серый костюм. В боковом кармане у него торчала авторучка и носовой платок, сложенный треугольником. Я сел на траву. Дядя Федя налил полстакана водки и подвинул ко мне:

— Выпей маленько для праздника.

— Какой же сейчас праздник? — сказала мать Толика. — Сына в армию провожаешь.

— Все равно, раз люди пьют, — сказал он, — значит, можно считать, что праздник.

— А вы пить будете? — спросил я.

— Мы уже, — сказал Толик.

Он мог бы этого и не говорить, по его глазам было видно, что он «уже». Честно сказать, мне пить совсем не хотелось. Но отказаться было неудобно, я взял стакан и выпил залпом, а отец Толика смотрел на меня с явным любопытством: посмотрим, дескать, что ты за мужик и как это у тебя получается. А потом схватил разрезанный помидор и протянул мне. Я хотел выпить не поморщившись, но меня всего передернуло, и я быстро заел помидором.

У матери Толика глаза были красные — видно, она только что плакала. Сейчас она смотрела то на меня, то на Толика, и было ясно, что ей нас обоих до смерти жалко.

— Бабушка твоя тоже приехала? — спросила она меня.

— Бабушка приехала и мама, — сказал я.

— Мать небось убивается?

— Нет, — сказал я. — А чего убиваться? Не на войну идем.

— Все равно,— сказала она жалко.— Что ж это получается, растишь вас, воспитываешь, а потом вы разлетелись — и нету вас!

Я достал сигареты, протянул сначала отцу Толика.

— Не балуюсь,— сказал он,— и другим не советую. Ты мне вот что скажи, Валерьян. Я в период Отечественной войны тоже служил в ВВС. У нас там никаких самолетов не было, а только продукты. Сало, масло, консервы.

— Опять,— рассердился Толик.— Я же тебе объяснял: ты служил не в ВВС, а в ПФС — продовольственно-фуражное снабжение.

— Мне пора,— сказал я и встал.

— Я тебя провожу,— сказал Толик и встал тоже.

Несколько шагов мы прошли молча. Потом остановились под топодем.

— Валера,— начал Толик, волнуясь и подбирая слова,— ты на меня, наверно, обижаешься, хотя на моем месте...

Все эти дни я думал, как поступил бы на месте Толика, смог бы я или нет поступить иначе. Но в конце концов я понял, что смог бы. И не потому, что такой уж храбрый, а потому, что не смог бы сделать то, что смог сделать Толик.

— Ты понимаешь,— сказал он,— они же меня заставили.

— Да, но ты очень старался,— сказал я.

— Но они бы побили и тебя и меня.

— Ладно,— сказал я.— Поговорим об этом в другой раз.

Что я мог ему объяснить?

Я нашел бабушку с мамой там же, на лавочке. Мне места не осталось; его заняла большая семья, провожавшая детину двухметрового роста с красным распухшим носом на длинном лице. Дитина сидел в окружении матери, отца и двух маленьких девочек, должно быть сестер, и плакал, а мать его утешала.

— Игорек,— говорила она,— не ты один, многие идут, надо же кому-нибудь служить в армии. Костя, скажи ты ему что-нибудь,— обратилась она к отцу.

— Я ему уже говорил,— сказал Костя.— Если не хочешь служить в армии, надо было учиться получше.

— Ты где так долго пропадал? — спросила меня мама.

— Толика встретил,— сказал я.

— Опять Толика? Неужели и в армии тебе не удастся встретить кого-нибудь поинтересней?

— Ладно,— сказала бабушка.— Они же все-таки друзья. Столько времени провели вместе. Работали на одном заводе.

В это время на площадь перед вокзалом вышел майор с пятном на щеке и прокричал в мегафон:

— Выходи строиться!

Бабушка схватила свою палку и еще хотела взять чемодан, но я отобрал его.

Те, которые сидели рядом с нами, тоже засуетились. Заплаканный парень вскочил на ноги.

— Подожди,— сказала ему его мать.— Подожди, я тебе вытру слезы, а то неудобно в строй становиться заплаканным.— Она вынула из сумки платок, вытерла парню слезы и подставила платок к носу.— Высморкайся.

И когда парень начал сморкаться, она посмотрела на него и вдруг сама заплакала громко, навзрыд.

— Ну вот еще,— сказал отец.— Держалась, держалась — и на тебе. Теперь ты еще будешь сморкаться.

Что там у них дальше произошло, я не знаю: мы побежали. Я бежал с чемоданом впереди и оглядывался. Мама и бабушка семенили сзади. Бабушка далеко вперед выкидывала свою палку, а потом как будто подтягивалась к ней.

Нас выстроили спиной к вокзалу в четыре шеренги. Я оказался в середине.

— Равняйся! — скомандовал майор.— Смирно! По порядку номеров рассчитайся!

Мы рассчитались. К майору подошел тучный подполковник в авиационной форме и спросил:

— Ну что, все в порядке?

— Двух человек не хватает,— почтительно сказал майор.

— Надо сделать перекличку.

Майор достал из кармана порядком уже измятый список.

— Слушай сюда,— сказал он и начал перекличку:— Алексеев!

— Я!

— Алтухин!

— Я!

После каждого ответа майор отрывал взгляд от списка и смотрел туда, откуда доносился голос вызываемого.

Моя фамилия шла следом за фамилией Толика, который очутился где-то в хвосте строя. В строю не оказалось все того же Переверзева и еще одного человека.

— Ну, ладно,— сказал подполковник,— больше ждать некогда. Разбейте людей на команды и грузите в вагоны.

Майор отсчитал сколько-то там человек, потом протянул руку, как бы отсекая часть строя, и командовал:

— Эта группа направо! Десять шагов вперед шагом марш!

Вторая группа сделала восемь шагов, третья, в которой был я,— шесть. Потом каждой группе выделили по сержанту. Нам достался толстый, здоровый парень, у него на груди было несколько значков.

Он, выпятив грудь вперед, гоголем прошел перед нашим строем, внимательно оглядел впереди стоящих. Потом отошел на два шага назад и изрек:

— Наша группа будет называться рота, так мне привычней. Ясно?

— Ясно! — заорали мы хором.

— Наша рота будет занимать третий вагон. Ясно?

— Ясно!

— В вагоне не курить, курить только в тамбуре. Ясно?

— Ясно!

— Все,— сказал сержант.— Какой порядок езды будет, кто дневальный, кто дежурный — решим на месте.— Он вдруг напрягся, вытянул шею из воротника с целлулоидным подворотничком и командовал: — Напра-у! Шагом арш!

И мы пошли. Не в ногу, конечно, а кто как сумел. А родители наши шли сбоку и все кричали одно и то же: чтобы мы за собой следили, чтобы писали письма.

Мама тоже умоляла меня писать чаще. За ней шла бабушка и ничего не говорила, только бодро взмахивала палкой.

Сержант привел нас на перрон. Здесь стоял уже готовый состав с прицепленным к нему тепловозом. Я думал, что состав будет товарный, а он оказался нормальным пассажирским, только из старых вагонов, таких, какие ходят у нас на пригородных линиях. Сержант приказал организованно занять в вагоне места, но никакой организованности не получилось, все торопились занять там места лучше. Я тоже торопился, но недостаточно, и поэтому мне досталась боковая верхняя полка. Но мне, в общем-то, было почти все равно. Я забросил свой чемодан на полку и снова выбрался на перрон.

Бабушка и мама стояли спиной к продуктовому киоску, жалкие и одинокие. Я посмотрел на них — сердце сжалось.

— Ну что вы раскисли? — сказал я. — Радоваться должны. Наконец-то избавились от шалопаю.

— Да, конечно, — мама хотела улыбнуться, но из этого у нее ничего не получилось. Губы у нее вдруг задергались, она отвернулась к киоску и заплакала. Бабушка посмотрела на маму и тоже отвернулась к киоску.

— Эх вы, нюни! — сказал я. — Что ж это вы от меня отвернулись? И что мне теперь из-за вас дезертировать, что ли? И чего вы ревете? Я же вот не реву. А если хотите, я тоже.

И я стал делать вид, что реву, хотя мне хотелось зареветь на самом деле. А может быть, я и на самом деле ревел, а только думал, что делаю вид. Но все-таки я их немножко успокоил. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и сказала:

— Не обращай внимания. Мы же с бабушкой — женщины, и нам иногда можно немного поплакать.

Потом мы стояли и молчали, и я думал, что надо сказать, может быть, что-нибудь очень важное и значительное, но ничего такого придумать не мог, и мама с бабушкой тоже ничего не могли придумать. Они стояли и смотрели на меня, а я на них смотреть не мог и озирался по сторонам, лишь бы на них не смотреть.

Недалеко от нас в окружении всей своей родни стоял тот самый парень, который плакал там, в сквере, но теперь он уже не плакал, а улыбался и, размахивая руками, что-

то рассказывал матери и отцу, и мать тоже улыбалась, а отец слушал его хмуро и невнимательно. Во всяком случае мне так показалось, что невнимательно. А возле вагона стоял парень, который играл на гитаре, но теперь он был без гитары, — наверное, оставил в вагоне. Возле него тоже стояли родители, маленькие пожилые люди, и еще чуть в стороне стояла красивая девушка — наверное, невеста, а может, даже жена. Она так стояла потому, что, наверное, считала, что у родителей сейчас больше прав на парня, а она отчасти вроде бы и лишняя, но если бы она была совсем лишняя, то, вероятно, ушла бы, но она не уходила — значит, лишней себя не считала. А может, считала, что если вот так будет стоять в самых ответственных случаях, то когда-нибудь обязательно станет нелишней: в общем, я не знаю, что там она думала, я сам об этом не успел додумать до конца, потому что в это время из вокзала вышел дежурный в красной фуражке и ударил в колокол.

И тут по радио раздался голос:

— Товарищи призывники, начальник эшелона подполковник Белов просит вас занять свои места в вагонах. Повторяю: товарищи призывники...

А из вокзала вышел майор с родимым пятном на щеке, он сказал что-то в мегафон, но, видимо, мегафон испортился, потому что ничего не было слышно. Тогда майор зажал мегафон под мышкой, сложил ладони рупором и уже без всякой механизации крикнул:

— По ваго-онам!

И сержанты, которые стояли возле каждого вагона, тоже стали кричать:

— По вагонам! По вагонам!

Но никто сразу и не пошевелился, и тогда сержанты стали тормозить отъезжающих и провожающих. И наш сержант подошел к нам и сказал маме и бабушке:

— Мамаши, команду слышали? Прощайтесь.

И мы стали прощаться. Мама меня обняла и прижалась ко мне, и я первый раз в жизни заметил, что она совсем маленькая. А она меня обхватила руками и не хотела отпускать, и в конце концов мне пришлось тихонько от нее освободиться, потому что я думал, что не успею проститься с бабушкой.

— Не забывай, пиши, — сказала мама, отпуская меня.

— Копечпо, буду писать,— сказал я.— Раз в педделю обязательно напишу.

Бабушка тоже, когда я ее обнимал, показалась мне маленькой и сухонькой, и только сейчас я подумал, что она ведь совсем уже старенькая, что, может быть, я больше ее никогда не увижу. Так оно в конце концов и получилось, но тогда я еще не знал, что так получится, но подумал, что может так получиться.

Опять подошел сержант и сказал:

— Хватит прощаться, сейчас отправляемся.

Я пошел задом к вагону и все смотрел на маму и бабушку, а они шли за мной. И только я залез в тамбур, как прогудел тепловоз, наш состав тронулся. Сразу вся толпа провожающих кинулась за составом, и все заревели так, будто весь наш поезд направлялся прямо на кладбище.

А мама с бабушкой мне махали руками и махали, и я им махал тоже, а потом их заслонили другие лица, а я все равно махал в надежде на то, что они видят хотя бы мою руку. И тут я увидел отца. Он, видимо, только что прибежал на перрон, и в одной руке у него был какой-то сверток. И я ему крикнул:

— Папа!

Он услышал мой крик, вскинул голову и стал растерянно пробегать глазами по вагонам, но он смотрел все не туда, и я крикнул ему:

— Я здесь!

Он меня так и не увидел и стал на всякий случай махать свободной рукой и крутил головой, пытаясь разглядеть меня в пробегающих мимо вагонах.

Так вот и кончилась моя предармейская жизнь. Но прежде, чем поставить точку, мне хочется еще рассказать об одной встрече с Толиком, которая произошла у меня через год после описанных здесь событий.

Первые два месяца мы служили вместе, вместе проходили курс молодого бойца, вместе принимали присягу.

А потом нас разослали по разным частям, и хотя служили мы по-прежнему в одном гарнизоне, но уже не виделись совершенно. Как-то не получалось. Да и желания особого я не испытывал. Может, у нас и раньше дружбы

особой не было, а мы считали — была, потому что не знали, что такое настоящая дружба.

Придя в армию, я не оставлял мысли о летном училище, писал во все инстанции рапорты и заявления, но прошел год, прежде чем мне удалось добиться положительного ответа.

И вот в один прекрасный день я вышел за ворота части со своим небольшим чемоданом. В кармане у меня лежало направление в училище, воинское требование на железнодорожный билет и кормовые деньги — восемьдесят шесть копеек, которые я получил в фипчасти.

Погода была паршивая. Грязные облака тянулись над самой землей, едва не задевая за верхушки деревьев. Иногда начинал накрапывать дождь и тут же переставал. Я был в шинели, но в пилотке, потому что приказа о переходе на зимнюю форму одежды еще не было.

Я пришел на вокзал за три часа до отправления поезда, взял билет и пошел бродить по городу. Город этот был большой, больше того, в котором я жил до армии, но он мне не нравился, может быть, не потому, что он был хуже моего города, а потому, что был он совсем для меня чужой. Я бродил по нему, держа чемодан в правой руке, чтобы не козырять офицерам, которых здесь было полным-полно. А потом устал, зашел на какой-то бульвар и сел отдохнуть. Напротив меня на лавочке два пенсионера, посинев от холода, играли в шахматы. Я сначала наблюдал за ними, а потом отвлекся и стал думать о своей жизни, о том, что произошло со мной за все это время. И вдруг над самым моим ухом оглушительно рывкнул знакомый голос:

— Почему не приветствуете?

Я моментально вскочил, инстинктивно потянул руку к пилотке и увидел перед собой счастливую рожу Толика.

— Вот дурак тоже еще! — рассердился я. — Ты откуда свалился?

— С луны, — сообщил Толик.

Я оглядел его с ног до головы. Вид у него был довольно странный. На нем, так же как и на мне, были шинель, сапоги и пилотка, но в руках он держал авоську, из которой торчали хлеб, сгущенное молоко и еще какие-то продукты.

— Что это у тебя такое? — спросил я.

Толик смутился:

— Да вот жена за продуктами послала!

— Разве у тебя есть жена?

— Да не моя жена — генерала. — И видя, что я ничего не могу понять, заторопился с объяснением: — Я сейчас, понимаешь, служу ординарцем у генерала. Я сначала был в клубе художником. А потом меня сократили. А тут генерал как раз. «Нет ли, говорит, у вас лишнего солдата, мне ординарец нужен». А ему говорят: «Есть, у нас как раз художника сократили». Ну и вот с тех пор я у него служу. Ну, служба, конечно, сам понимаешь, подай-принеси. А вообще-то нетяжелая. Ни физзарядки, ни строевой, ни подъема, ни отбоя. Пол подмел, посуду помыл — и свободен. Пиво пью каждый день. Ну, конечно, в смысле денег маловато. Из магазина придешь, жена всю мелочь пересчитывает. Почем картошку брал, почем помидоры — все пересчитает. Если куда зачем надо съездить, дает на трамвай. Три копейки туда, три — обратно. Ну, а я другой раз на троллейбусе проеду или на автобусе. Приходится свои доплачивать. А откуда взять свои? Ну, бывает, из дому пятерочку подкинут или гонорар получишь. Вот и все.

— Какой гонорар? — удивился я.

— Вот тебе на! — удивился Толик еще больше. — Да ты разве не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Я же стихи сочиняю. В нашей в окружной газете уже три стиха напечатали. Хочешь, расскажу?

— Валяй, — разрешил я, все еще не веря.

— Ну, слушай, — сказал Толик. Он поставил авоську на скамейку рядом со мной, а сам отошел на шаг, встал в позу и вытянул вперед правую руку. — «Старшина» называется.

Наш старшина — солдат бывалый,
Грудь вся в орденах.
Историй знает он немало
О боевых делах.

Он всю войну провоевал,
Знаком ему вой мин.
Варшаву он освобождал
И штурмом брал Берлин.

Расскажет как-нибудь в походе
Военный эпизод.
И станет сразу легче вроде,
Усталость вся пройдет.

Наш старшина — пример живой
Отваги, доблести, геройства.
Он опыт вкладывает свой,
Чтоб нам привить такие свойства.

Толик читал стихотворение, размахивая рукой и завывая, как настоящий поэт. А потом посмотрел на меня с видом явного превосходства и спросил:

— Ну как?

— Это ты сам написал? — спросил я.

— Ну а кто же? — обиделся Толик. — У меня их много. Хочешь, еще расскажу?

— Нет, не надо, — сказал я. — Только это все как-то неожиданно. — Я был в самом деле растерян.

— Нет, ты скажи: вообще понравилось или нет?

— Ты просто гений, — сказал я почти искренне. — Я даже и не думал никогда и не подозревал. И давно ты занимаешься этим делом?

— Давно, — вздохнул Толик. — Помнишь, мы еще когда работали на заводе, шли на работу и ты мне читал стихи?

— «Анчар»?

— Ну да. Вот с тех пор я и пишу. Сперва нескладно получалось, рифму никак не мог подобрать. А теперь вроде что-то выходит. Я понимаю, что это еще только первые шаги, но я поучусь, я упорный. Уже прочел статью Маяковского «Как делать стихи» и Исаковского «О поэтическом мастерстве». Начал изучать Добролюбова.

Я был просто поражен. Для меня это был гром с ясного неба, я посмотрел на него пристально и неожиданно, в лоб спросил:

— Слушай, а что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами...

— Что? — быстро спросил Толик.

— Ничего, — сказал я. — Я хотел проверить — ты это или не ты.

— Ну и как? — поинтересовался Толик.

— Никак,— сказал я.— Я хотел бы, чтобы ты провалился и пашел кучу золота.

— Это было б здорово,— сказал Толик искренне.— Я бы тогда знаешь что сделал?

— Знаю. Купил бы «Москвич» с ручным управлением.

— Зачем же с ручным? — обиделся Толик.— Что же я — безногий? — Он помолчал.— А ты чего с чемоданом? В отпуск, что ли?

— В летное училище,— сказал я.

— Зря,— сказал Толик.— Ненадежное это дело. Хотя и деньги хорошие и все, но ведь работа опасная.

— Ну, ладно.— Я встал.— Мне пора.

— Постой,— сказал Толик. Он стоял и раскручивал авоську сперва в одну сторону, потом в другую.— Я вот часто думал про тот случай возле Дворца... Конечно, мне неприятно, что так получилось...

— Да уж приятного мало,— согласился я.

— Да, мало,— сказал Толик.— Но для тебя так было лучше.

— Интересно! — я был искренне удивлен.— Это еще почему?

— Они бы тебя били сильнее,— сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Это была уже философия. Потом я встречался с ней при других обстоятельствах, слышал примерно те же слова от других людей, торопившихся сделать то, что все равно на их месте сделал бы кто-то.

— Ладно,— сказал я,— чего уж тут говорить!

В правой руке у меня был чемодан. Толик в правой руке держал авоську. Я повернулся, чтобы идти, но Толик не пустил. Он забежал вперед и загородил мне дорогу.

— Слышь,— жалобно сказал он, перекладывая авоську в левую руку,— слышь... Значит, до свидания. Может, еще увидимся как-нибудь или сплшемся. Все же не зря столько лет были друзьями.

Он протянул вперед руку и ждал. Я поставил чемодан на землю. Он набросился на мою руку с жадностью и невыносимо долго тряс ее.

— Слышь, Валера, не забывай,— говорил он.— Знаешь, в жизни все может быть, а дружба остается дружбой. Мо-

жет, еще и пригодимся друг другу. Ты же мне вроде брата, дороже отца-матери...

В конце концов я освободился и пошел дальше. Пройдя немного, я обернулся. Толик стоял посреди дороги со своей дурацкой авоськой и раскручивал ее сперва в одну сторону, потом в другую. Увидев, что я обернулся, он поспешно заулыбался и стал ожесточенно махать рукой. Я не выдержал, поднял руку и сделал такой жест, как будто помахал ему ответно и в то же время как будто не помахал. Но скорее всего этот жест мог означать, что, мол, ладно уж. Чего уж там. Что было, то было.

1966



ВЛАДЫЧИЦА



1

Эту историю слышал я от многих людей. Одни говорили, что все это случилось давным-давно, не то в тринадцатом, не то в четырнадцатом веке, где-то в Сибири, другие — на Волге, а старики стояли на том, будто это произошло на севере, у холодного моря. Я поверил старикам и представил себе, как это все было.

Между морем и лесом стояла деревня. Лето здесь было короткое, земля скудная, и люди занимались в основном охотой и рыбной ловлей.

Правил людьми некий Дух, хозяин моря и леса. Он помогал им в охоте и в рыбной ловле, защищал от злых сил, от голода и болезней и строго наказывал за отступничество.

А для осуществления воли его был на земле у Духа свой представитель — его жена, Владычица, которую выбирали для Духа старейшие и мудрейшие. Жила она в высоком тереме, стоявшем в стороне от деревни, и люди ходили к ней со своими горестями и радостями, просили совета в трудных случаях, благодарили подарками за удачу.

Но Владычица была смертна, как и простые люди, и когда она умирала, старейшие и мудрейшие подыскивали ей замену, отбирали из молоденьких девушек самую красивую, самую ловкую и конечно же самую умную.

Стоял солнечный, веселый весенний день. В полуразвалившемся стогу сена недалеко от деревни сидели Манька и Гринька и, пользуясь тем, что никто их не видит, обнимались и целовались без всякой меры. Но когда Гринька позволил своим рукам лишнее, Манька его оттолкнула.

— Ты чего? — спросила она сердито.

— А чего? — сказал Гринька, смутившись. — Я ничего.

— Ну да — ничего. Гулять гуляй, а рукам воли не давай.

— Да я ведь так просто... — Гринька искал слово, — по-соседски.

Манька засмеялась и шутя стукнула его по голове.

— Вот дурак, скажет тоже. Разве ж по-соседски лезут куда не след?

— А куда лезут? — невинно поинтересовался Гринька.

Манька отвернулась от него, запрокинула голову, подставляя лицо теплему, весеннему солнцу.

— А и правда ты непутевый. Не зря тебя дразнят так.

— Ну уж прямо сразу и непутевый, — возразил Гринька. — А у путевых откуль дети родятся?

— Вот язык! Несет, сам не знает чего. Нет, Гринюшка, я так не хочу.

— А как хочешь? — поинтересовался Гринька.

— Хочу, чтоб все было, как у людей. Чтоб свадьба была на всю деревню, чтоб брагу пили, чтоб песни пели. Хочу быть женой.

— Да я что, я разве против? — сказал Гринька. — Я уже с тятькой обо всем договорился. Вот в море по рыбу сходим, засылаю сразу к тебе сватов и идем к Владычице под святое благословение.

— Правда? — обрадовалась Манька.

— Что ж я врать буду?

Манька коснулась своим плечом плеча Гриньки. Гринька, не теряя времени даром, тут же вцепился в Маньку. Но Манька была начеку и, чтоб дело не заходило слишком далеко, опять оттолкнула Гриньку.

— А ты как, сразу и ко мне и к Анчутке косой свататься будешь или по очереди? — спросила она.

— А при чем тут Анчутка? — удивился Гринька.

— Как будто я не видала, как ты вчера с ней на завалянке лапался.

— Да это ж я так,— смутился Гринька,— ну от нечего делать.

— По-соседски,— скосила глаз Манька.

— Ну да.

— Ну и слезай отседова,— рассердилась Манька.— Иди к своей косой и хоть лапай ее, перелапай, а здесь нечего сено чужое толочь.

Она опять от него отвернулась. Гринька сидел надувшись, но слезать с сена не собирался.

— Слышь, Манька,— сказал он ей, помолчав,— ты это... Да и кто она есть, коль сравнить с тобой? Страшилище, да и все.

— А еще кто? — спросила Манька.

— Косая,— с готовностью ответил он.

— А еще?

— Рябая.

— А еще? — потребовала Манька.

— Горбатая,— ляпнул Гринька, ничего не придумав.

— Ну зачем уж лишнее говорить! — ласково упрекнула она, придвигаясь к Гриньке.

Гринька, осмелев, опять полез обниматься, но она, вдруг испугавшись чего-то, ткнула его лицом в сено, сама упала рядом и затаилась.

Со стороны деревни к стогу подошла маленькая пожилая женщина с темным лицом. Это была Манькина мать — Авдотья.

— Манька! — позвала она, задрав голову к стогу.

Ей никто не ответил.

— Манька, слышь, что ли, нечистый тебя заешь! — Она схватила торчавшую из сена Манькину ногу и потащила к себе.

Вместе с Манькой сполз Гринька. Они стояли перед Манькиной матерью, осыпанные сеном, и смущенно переминались с ноги на ногу. Авдотья посмотрела на них грустно, но без укора и, едва разжав губы, тихо сказала:

— Матушка, наша Владычица, представилась нынче в обед.

• Авдотья повернулась и пошла обратно к деревне.

В стороне от деревни, ближе к морю, стоял высокий, огороженный забором терем — жилье Владычицы. Вдоль аккуратной дорожки, между теремом и калиткой, выстроились в два ряда старухи, одетые в черное. Народ толпился снаружи, налегая на забор. Тут же ходил горбатый мужик, покрывая:

— Эй, народ, не толпись! Осади, окаянные, вы же забор повалите!

К Гринькиному отцу Мокею подошел сосед Фома. Спросил тихо:

— Ну что слышать?

— Говорят, обмыли, обрядили, выносить будут,— отвечает Мокей.

— Ой, не вовремя это все! Кабы зимой... А то ведь хлеб сеять падо, в море по рыбу надо идтить, Афанасьич на завтра наказывал лодки готовить, а теперь что ж?

— А у меня, слышь, тоже вот все прахом пошло,— припался Мокей.— Гриньку я собирался женить. Время горячее, хозяйка нужна, а теперь все откладывай — когда это будет новая Владычица! Да и будет ли?

Сквозь толпу пробирался Гринька, отыскивая глазом кого-то, должно быть Маньку, и наткнулся на двух старух, которые вполголоса толковали между собой, обсуждая подробности:

— Два дня у ней жар был и поясницу ломило, а вчера до свету еще поднялась, вышла на крылечко. Тут к пей Никитка подошел, она его заговорила от дурного глаза. А нянька Матрена ей еще говорит: «Вот, матушка, поднялась ты все же. Авось и пройдет». А она говорит: «Нет, Матренушка, не пройдет. Чую я, святой Дух зовет уж меня к себе, требует. Слышь, все шумит, шумит». Матрена послушала, а чего она может услышать? Если он и шумит, так не для нас же. Сказала так матушка, а сама поднялась и еще говорит: «Каши хочу пшенной с молоком». И пошла к себе в покои. Матрепа каши паварила, приносит...

Гринька протиснулся к говорившей старухе:

— Какой, бабушка, каши?

— Пшенной, милоч, пшенной,— заискивающе заулыбалась старуха.— Я-то сама не знаю, народ говорит, будто пшенной.

— А улыбаешься ты чего? — спросил Гринька. — Весело, что ли?

Старуха быстро согнала улыбку и поспешно изобразила на лице своем скорбное выражение.

— Вот так, — сказал Гринька. — Так красивей.

В это самое время Манька стояла чуть поодаль, уткнувшись носом в забор, и смотрела в дырку от выпавшего сучка. В дырке видна была часть двора, где под аккуратной сложенной поленицей лежала сонная клуша с выводком желтых цыплят. Мимо прошлепали чьи-то босые ноги, клуша забеспокоилась, подняла голову, но ноги прошли, и она снова впала в дремоту. Подошел кто-то сзади и дохнул прямо в ухо:

— Слышь, Манька, дай поглядеть.

Манька, не оборачиваясь, узнала Анчутку Лукову.

— Уйди, — сказала Манька, пихая Анчутку плечом.

— Слышь, Манька, ну пусти, хоть одним глазком, — тон у Анчутки смиренный, просительный.

Но Манька не удержалась, съязвила:

— Да куды ж тебе им глядеть? Глазок-то у тебя косой.

— А у тебя не косой? — теперь Анчутка пихнула Маньку плечом.

— А у меня не косой, — Манька пихнула ее обратно.

— А у тебя ноги кривые, — снова толкнула Анчутка.

— У меня кривые? — возмутилась Манька. — На вот, погляди, где у меня кривые?

Анчутка стала приседать и подпрыгивать.

— А вот и кривые, кривые, кривые...

С диким воплем Манька вцепилась сопернице в волосы. Та ответила тем же. Обе повалились на землю, стали барахтаться. Манька ухватила Анчутку за ухо, а Анчутка Маньке укусила плечо. Толпа разделилась. Часть по-прежнему ожидала выноса тела, другая наблюдала за поединком. Раздавались возгласы и советы:

— Дави ее, Манька, дави.

— Анчутка, не поддавайся.

— Манька, ухо оторвешь — не выбрасывай, засолим.

— Анчутка, кусай ее за нос.

Подлетела мать Маньки.

— Да вы что, оглашенные? Манька, слышь, ты чего это удумала? В такой-то день! А ты, зараза косая! — она схватила Анчутку за руку и потянула к себе.

Подоспела и мать Анчутки.

— Это кто косая, кто косая? — закричала она. — Моя девка косая?

— А то какая ж?

Тут мать Анчутки кинулась с воплем на мать Маньки, и в это время кто-то закричал:

— Несут! Несут!

Подбежал горбатый мужик:

— Несут. Слышите, что ля! Да что же вы тут сцепились, чтоб на вас болячка напала!

Кое-как ему удалось разнять дерущихся. Они поднялись с земли, сразу вытянулись, придавая лицам своим чинное выражение. Только Манька не удержалась и шепотом сказала Анчутке:

— Вот я тебе ужо всю морду в кровь раздеру.

— Еще посмотрим, кто кому, — так же шепотом ответила ей Анчутка.

4

Дверь терема отворилась, сперва показался Афанасьич, высокий старик с белой окладистой бородкой, а за ним мужики, которые на специальных черных носилках несли покойницу, обряженную в белое. И сразу вступил в дело хор старух, стоявших вдоль дорожки. Старуха, стоявшая на правом фланге, запевала, а остальные подхватывали:

— Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
— Я весной взошла, летом выросла,
Я весной цвела, летом вызрела.
— Под тобою ли, под рябинушкой,
Что не мак цветет, не трава растет,
Не трава растет, не огонь горит —
Растекаются слезы горячие.
А кипят они, что смола кипит
По душе ль, душе-лебедушке.
По лебедушке, по голубушке,
По голубушке нашей матушке,
Нашей матушке да Владычице.
Улетела ты, что кукушечка,
Разорила ты тепло гнездушко
И оставила своих детушек,

Своих детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березничку,
По часту леску, по орешничку.
Как заплачут твои кукунятушки:
«На кого же нас ты оставила?
На кого же нас ты покинула?
Воротись-ко к нам, своим детушкам,
Воротись к нам в тепло гнездушко,
Не лети на чужу дальнюю сторону,
Дальнюю сторону, незнакомую».

Толпа зарыдала. Женщины заламывали руки, падали, бились причитая о землю.

Процессия двигалась в сторону кладбища, которое расположено возле самого моря.

Чуть поодаль от кладбища вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним холмом — свежевырытая могила.

— Сюда кладите, — приказал Афанасьич, и носилки опустили рядом с могилой.

Старик первый приложился губами ко лбу покойницы и отошел, освобождая место другим. За ним вереницей пошли остальные.

Где-то в хвосте этой очереди двигалась Машка с матерью.

— Мамонька, — спросила дочь, — а как же мы теперь без Владычицы будем жить?

Она задала этот вопрос громко, и мать испуганно дернула ее за рукав. Потом вполголоса объяснила:

— А мы без нее не будем. Это тело ее сносилось, а душа осталась живая. Дух святой из нее душу вынул и в другое, молодое тело вселил.

— А где ж это тело? — недоверчиво спросила Манька.

— Где-то здесь, — убежденно сказала Авдотья. — Завтра, должно, вызнание начнется.

— А как это можно вызнать?

— Молчи! — оборвала ее Авдотья.

Подошла их очередь. Авдотья опустилась на колени, приложилась ко лбу Владычицы и уступила место дочери.

Они отошли в сторону. Прошло еще несколько человек. Снова выступил вперед высокий старик и приказал:

— Опускайте!

Подбежали четыре мужика, подвели под носилки жгуты из длинных вышитых полотенец.

Хор старух, выстроившись в стороне от могилы, затянул новую песню:

Со восточной со сторонушки
Подымались да ветры буйные
Со громами со гремучими,
Со молоньями да со палючими;
Пала с небеси звезда
Все на матушкину, на могилушку.
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Расшиби-ка ты мать сыру землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны!
Скройся-ка да гробова доска,
Распахнитеся да белы саваны,
Отвалитесь да ручки белыя
От ретива от сердечушки,
Разожмитесь да уста сахарные!
Обернись-кося да наша матушка
Тут перелетною да соколицею,
Ты слетай-кося да на сине море,
На сине море да Хвалынское,
Ты обмой-ка, родна матушка,
С белого лица ржавщину,
Прилети-ка ты, наша матушка,
На свой ет да на высок терем,
Все под кутеси да под окошечко,
Ты послушай-ка, родимая матушка,
Горе горьких наших песенок.

И снова зарыдала толпа. Афанасьич первым бросил в могилу горсть земли. За ним прошли остальные по нескольку раз, пока не вырос над могилой небольшой холм.

5

Утром ходил по деревне горбатый мужик, собирал народ:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди, будем пить и гулять, Владычицу визнавать! Эй, народ, выходи...

На деревне заканчивались последние приготовления к торжеству. Топились бани, шипели в утюгах угли, из сундуков вынимались самые лучшие сарафаны и ленты. Распаренные, красные, взволнованные девки и не меньше их взволнованные матери носились по дворам, суетились— событие предстояло серьезное.

Вот Анчутка только что после бани придирчиво осматривает свой наряд, одеваясь с помощью матери. Вот на другом дворе какая-то девка застыла над бочкой с водой, пытается разглядеть свое отражение, поправляет прическу.

Некрасивое, нескладное существо стоит посреди избы, папялив на себя все что можно. Ее мать сидит на лавке и не скрывает своего полного восхищения:

— Уж какая красавица, какая красавица! — радуется она. — А уж зубы, ну чистый жемчуг!

«Красавица» самодовольно улыбается.

Тем временем на опушке леса в ожидании предстоящего торжества собирались жители деревни: мужики, бабы, дети.

Два здоровых парня притащили большой неструганый стол и опрокинутую на него лавку.

Подшли Афанасьич с Матреной, нянькой Владычицы.

— А сама Владычица перед смертью ничего не говорила, не намекала? — допытывался старик у Матрены, следя за парнями, устанавливавшими стол на траве.

Матрена ответила, подумав:

— Да говорила еще по осени про Таньку Николину, так она ж замуж за Степку вышла.

Афанасьич хмыкнул:

— Да она хоть бы и не вышла, куда ей, тупая! Ну ладно, поглядим, — он отошел от Матрены. — Здорово, старички! — сказал, подойдя к группе седобородых дедов, стоявших особняком.

— Здорово, Афанасьич! — хором ответили старички.

Афанасьич обошел всех, каждому пожал руку.

6

А Манька еще сидела в своей избе, на лавочке у окошка, и смотрела на улицу. Мать стояла возле нее, уговаривала:

— Слышь, доченька, собирайся, пойдем.

— Не пойду, — уперлась Манька.

— Доченька, да как же так? — в нетерпении всплеснула руками Авдотья. — Народ-то уж давно собрался, а нас все пету.

— А нам там неча делать. Я ж тебе говорю, нету во мне ничьей души, окромя моей собственной.

— Да откуда ж ты знаешь? — сердилась мать. — Откуда тебе это ведомо? Это старики еще визнавать будут, у Духа святого выпрашивать.

— А чего там выпрашивать? Неужто я в себе другу душу-то не почуяла б? А то все, как было, так есть, как хотела я с Гринькой жить, так и сейчас хочу.

— Ах ты охальница! — закричала мать. — Да как ты можешь таки-то слова говорить. Вот услышит тебя Дух, покарает.

— Не покарает, — уверенно сказала Манька. — Он-то ведь знает, что в душе моей нет ничего, окромя только Гриньки.

— Вот я сейчас отца позову, он из тебя вожжей всю дурь твою вышибет.

Мать вышла на крыльцо и увидела мужа, который лежал на сене возле крыльца, бормотал что-то бессвязное.

Мать посмотрела на него осуждающе, покачала головой:

— Эх, охламон, надрызгался!

— Иди гуляй, — сказал муж не оборачиваясь.

— Я вот тебе погуляю! А ну, вставай! — она сбежала с крыльца и ткнула его носком лаптя.

— Ну чего?

— Чего-чего! Пьянь несчастная. Владычицу визнавать надо идти, а дочь твоя упирается.

— Ну и что? — беспечно спросил он, все еще надеясь, что его оставят в покое.

— Я тебе покажу — что! А ну подымайся! — она опять ткнула его лаптем, но уже изо всей силы.

— Что ты, Авдотьюшка? — он быстро вскочил на ноги. — Сказала б по-людски — так, мол, и так, дело есть, вставай, а ты сразу бьешься...

— Иди, иди, — она подтолкнула его кулаком в спину.

Манька сидела на прежнем месте, глядела в окошко, не обращая никакого внимания на вошедшего в избу отца. Отец растерянно посмотрел на Авдотью.

— Ну чего делать? — спросил он.

— Прикажи дочери, пушай собирается.

— Дочка, собирайся, — послушно сказал отец.

Дочь пропустила эти слова мимо ушей.

— Ну что ж ты за отец? — сказала Авдотья презрительно. — Ты говоришь, а она тебя и слушать не хочет. Да ты сними вон вожжу и поучи, как следует быть в таком разе. Бери, говорят тебе, — она схватила вожжу и хлестнула отца по заду так, что он подскочил от боли.

— Что же ты дерешься-то? Больно ведь! — закричал отец. Он взял вожжу и, подойдя к дочери, сказал ласково: — Поди, дочка, добром, не то ведь она меня совсем зашибет.

Манька промолчала. Мать подошла и повалила ее на лавку, сама села ей на ноги. Отец все еще растерянно топтался перед распластанной на лавке дочерью.

— Доченька, — сказал он, — ты же видишь, я не хочу, а она меня заставляет.

— Заставляет, так бей! — закричала Манька. — Хотя убей совсем, все одно никуда не пойду.

Отец еще потоптался и нехотя взмахнул вожжей.

— Да куда ж ты бьешь, глупая голова? — сказала мать. — Платье попортишь, а оно у нее одно.

Она задрала дочери подол и сказала удовлетворенно:

— Вот теперь бей, да покрепче, пока самому не попа-
ло.

Отец бил Маньку долго. Она лежала молча, сцепив зубы от боли, и только вздрагивала. Потом не выдержала.

— Хватит драться, — сказала она. — Пойду. Ищите во мне душу святую, может, чего и найдете.

Отец сложил вожжи. Мать встала с лавки.

— Так бы и давно, — сказала она.

Манька сползла с лавки, поправила платье. Морщась от боли, схватилась рукой за побитое место.

— Обормоты проклятые! — простонала. — Дочь родную до смерти засечь готовы.

Вышли втроем во двор. Мать с дочерью пошли к калитке, а отец остался возле крыльца.

— А ты не пойдешь, что ли? — обернулась Авдотья.

— Приду опосля, — сказал отец. — По хозяйству еще надо заняться.

— Уж ты приходи, — попросила Авдотья. — А то неудобно, народ соберется, а тебя нет. Праздник ведь.

— А как же, праздник, — охотно согласился отец.

Он подождал, пока жена с дочерью скрылись за углом соседней избы, и улегся на старое место.

На поляне за столом сидели бородатые старики, человек шесть-семь во главе с Афанасьичем, и разглядывали очередную претендентку.

— Ну-ка, поворотись, — приказал Афанасьич. — Еще. Так. Зубы покажи. Ага. Юбку чуть-чуть подбери, ноги посмотрим. Чем колено ссадила?

— В море, Афанасьич, об камень ударилась, — объяснила девица смущенно.

— А не хромасшь, нет? А пройдишь-ка туда-сюда. Ничего, вроде не хромает, — обернулся он к соседу слева.

— Да вроде нет, — сказал сосед слева.

— Ну ладно. Становись туда, — Афанасьич указал на группу девиц, уже прошедших эти странные смотрины. — Кто там еще?

Вышла Анчутка. Платье расшито бисером. На ногах расписные сапожки.

— Ближе подойди, — приказал старик. — Повернись. Зубы покажи. Закрой, закрой, хватит. Сапожки зачем надела? Лапоточков не нашла?

— А на что лапоточки? — бойко спросила Анчутка. — У меня ноги ровные, погляди. — Она приподняла юбку и приспустила немного сапоги.

— Ладно, — сказал старик. — Не надо. — Он повернулся к старику справа: — Ну как?

— Да так ничего, — шепотом ответил старик. — Косовата немножко.

— Это не беда, — сказал Афанасьич и показал Анчутке один палец: — А ну, погляди сюда. Сколько пальцев?

— Один, — сказала Анчутка.

— А не два? — лукаво спросил он.

— Один, — нагнув голову, упрямо сказала Анчутка.

— Ладно. Становись туда. Следующая.

Вышла некрасивая девушка. Фигура нескладная, глаза маленькие, нос картошкой. Афанасьич переглянулся со стариками и решил:

— Становись обратно.

— А зубы показать? — с надеждой спросила девушка.

— Не надо, — сказал старик, — становись обратно.

Девушка сморщилась и заплакала.

— А чего ж зубы не смотришь? Они у меня знаешь какие — чистый жемчуг.

— Пусть покажет, — пожалел старик справа.

— Покажь, — неохотно согласился Афанасьич.

Она с готовностью широко раскрыла рот.

— Становись обратно, — вздохнул старик. — Кто еще?

— Мы, — вышла мать Маньки.

— Ты, что ли? — удивился старик.

В толпе засмеялись.

— Не я. Дочка моя, Манюшка.

Схватив за руку и выведя из толпы Маньку, она толкнула ее к столу. Манька стояла, опустив голову, насупившись.

— Что такая сердитая? — спросил старик. — Подними голову. Улыбнись.

Манька в ответ сделала рожу.

— Ну и улыбочка! — покачал головой старик.

— С характером девка, — сказал старик справа.

— Материн характер, — сказал Афанасьич. — Слышь, Авдотья, — крикнул он Манькиной матери, — твой характер у дочки?

— Мой, — сердито сказала Авдотья.

Старики засмеялись. Манька посмотрела на них исподлобья и, не сдержавшись, тоже заулыбалась.

— Стань туда, — старик, довольный, показал в сторону, где стояли отобранные.

8

Десятка полтора неуклюжих рыбацких лодок далеко отошли от берега. Светило солнце, был полный штиль, довольно редкий для холодного моря. Лодки выстроились в линейку носами к берегу, и на каждом носу — будущая Владычица в одной рубашке, потому что в те времена других купальных принадлежностей девушки не имели. Афанасьич на легкой долбленке прошел перед строем лодок, командуя:

— Ровнее, ровнее! Эй, Егорыч, куда вылез вперед? Сдай обратно! Вот так. Ну... — пристроившись с правого фланга, старик бросил весла и поднял руку.

Манька стояла на третьей от Афанасьича лодке и,

кося одним глазом на старика, мелко постукивала зубами то ли от холода, то ли от возбуждения.

— Давай! — Афанасьич резко опустил руку.

Манька вместе со всеми плюхнулась в воду и почувствовала, как обожгло ледяной водой тело и перехватило дыхание. Но тут же на смену первому ощущению пришло другое — ощущение силы и уверенности в себе. Она попеременно выбрасывала вперед руки, и тело ее при каждом взмахе наполовину высовывалось из воды.

На берегу волновались болевщики. Гринька с тревогой вглядывался в плывущих, пытался и не мог различить среди них Маньку, хотя по каким-то признакам и догадывался, что вон та, впереди всех, — она! Авдотья стояла спокойно, потому что на таком расстоянии не могла разглядеть никого. Но пловчихи приближались. Вот они уже стали доступны для глаз Авдотьи. Авдотья встрепелась.

— Ну, доченька, — забормотала она, дергая подбородком, — ну еще чуток! Ну!

Когда-то она тоже была молодая и в плаванье не знала равных во всей деревне. Но что это? Уже совсем близко, когда до берега осталось саженой двадцать, не больше, Манька вдруг перевернулась на спину и, безмятежно раскинув руки, едва перебирала ногами, лишь бы держаться.

Гринька, стоявший рядом с Авдотьей, облегченно вздохнул. Авдотья посмотрела на него и все поняла.

— Манька! — она кинулась к самой воде, намочила ладоть и отскочила. — Манька, зараза такая, не будешь плыть, я тебе дам!

Манька слышала ее голос, но не спешила. Такой уговор был с Гринькой — не торопиться. Вот уже кто-то и догоняет ее, часто шлепая ладонями по воде. Пускай догоняет. Манька прижмурила веки, но неплотно, просеивая сквозь узкие щелки солнечные лучи.

— Что, сдохла? Кишка тонка! — услышала рядом злорадный голос.

Манька от неожиданности хлебнула горькой морской воды, перевернулась на живот. Обдав ее брызгами, проплыла мимо и уходила вперед Анчутка. Этого Манька стерпеть не могла. И, забыв о своем уговоре с Гринькой, рванула вперед, словно щука за карасем.

Оживилась на берегу Авдотья:

— Давай, давай, доченька, дави ее, стерву косю.

Засуетился и Гринька.

— Манька, опомнись! — закричал он.

Но уже было поздно — Манька с Анчуткой подгребали к берегу.

Авдотья, подхватив с земли сухую одежду, кинулась к дочери.

— Доченька моя — первая! — радовалась она, обнимая и целуя Маньку.

— Куды уж там первая! — возразила Анчуткина мать. — Моя уже ногами по дну шла, а твоя еще пузыри пускала.

Манька, запыхавшись, ловила ртом воздух и никак не отвечала на Гринькин укоряющий взгляд.

9

Много еще было между соперницами, если сказать потеперешнему, состязаний. Бегали паперегонки — кто быстрее, плясали под жалейку — кто лучше, пекли пироги — кто вкуснее.

Последний тур проходил опять на поляне. Опять сидели за столом старики и стоял полукругом народ. Перед судейским столом остались двое — Анчутка и Манька. Одна из них должна стать Владычицей.

Первую загадку загадал Афанасьич:

— Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собака лает, а достать не может.

— Месяц! — закричала, догадавшись, Анчутка.

— Угадала, — одобрил старик. — Может, и еще угадаешь: «Дом шумит, хозяева молчат, пришли люди, хозяев забрали, а дом в окошко ушел».

— Это не знаю, — сказала Анчутка. — Это глупость какая-то. Как может дом в окошко уйти?

— Да вот может, — усмехнулся Афанасьич и повернулся к Маньке. — А ты как думаешь?

— Я думаю, — рассудила Манька, — дом шумит — это море, хозяева молчат — рыба в сети. Сеть вытащили, рыбу забрали, а дом остался.

— Соображает, — встрепенулся маленький подслеповатый старичок, который до этого сидел самым крайним и дремал. — А вот я ей сейчас задам вопрос на засыпку:

«Поле не меряно, овцы...» — Он растерянно замигал. — Забыл.

Все засмеялись.

— «Овцы не считаны, пастух рогат», — сказала Манька.

— Я знаю — почь, — сказала Анчутка.

— Это все знают, — сказал Афанасьич.

— А я еще одну знаю, — выкрикнул маленький старичок. — Без рук, без ног...

— Эту не надо, — оборвал его Афанасьич. Он повернулся к Анчутке: — Летело стадо гусей. Мужик увидел и говорит: «Поди вас сто». А гуси ему отвечают: «Кабы нас столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да ты один, то было бы сто». Сколько было гусей?

— Сто, — сказала Анчутка.

— Ты вникни лучше, — строго сказал старик. — Кабы столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да еще мужик...

— Я ж и говорю — сто, — упорно повторила Анчутка.

— Не соображаешь, — сказал Афанасьич и повернулся к Маньке: — А ты как думаешь?

— Ну, значит, так... — Манька стала загибать пальцы. — Без мужика остается девяносто девять. А потом четверть и полстолько, две четверти — всего три, два раза по четыре четверти — восемь, восемь и три — одиннадцать, в одной четверти девять, в четырех — тридцать шесть. Тридцать шесть гусей было.

Афанасьич пошептался о чем-то со своими товарищами, потом все вышли из-за стола. Афанасьич взял Маньку за руку, вывел на бугор, повернул лицом к морю и упал вместе с ней на колени. А все остальные повалились на землю ниц, как бы ожидая той кары, которая может последовать, если они что-нибудь не так сделали.

— Дух святой! — громко сказал старик. — Ты хозяин моря и леса, хозяин над всякой тварью, хозяин над человеком. Вот тебе жена от народа нашего. Хороша ли, плоха ли, может, и не по праву тебе придется, а лучше нет среди нас. Пусть, Владыка, она будет твоею рабою, а над нами, детьми твоими, Владычицей. Встань, покажись Владыке, — обратился он к Маньке.

Она послушно поднялась и застыла с окаменевшим ли-

цом. И люди подняли головы. И сквозь тучи прорезался тонкий солнечный луч и осветил лица людей.

И в народе прошел шум. Все встали. Кто-то крикнул: — Слава Владычице! — но крикнул не вовремя.

И Афанасьич поднял руку и сказал, обратившись к Маньке с поклоном:

— Матушка наша, пресвятая Владычица! Дух святой подает нам знак, что с охотой берет тебя в жены. Служи ему по правде, будь верной до самой смерти. А нарушишь в чем закон верности, ляжешь в землю живая, а парод твой постигнет великая кара. Помни об этом. Ты теперь у нас самая старшая. Ты наша матушка, а мы твои дети.

Манька стояла растерянная и ошалелая, еще не в силах понять и осмыслить всего, что произошло. А старик снова поклонился ей в пояс. Вместе с ним поклонились Владычице все остальные.

И опять кто-то крикнул:

— Слава Владычице! Слава Владычице!

И тут произошло невообразимое. Вся толпа повалилась на землю, все стали иступленно биться о землю, истопно выкрикивая:

— Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

Бился о землю в поклонах Афанасьич, бился отец Гриньки Мокеич, билась рядом с матерью, рыдая от только что перенесенного позора, Анчутка, и все же вместе со всеми выкрикивая:

— Слава Владычице!

Манька стояла посреди этого вдруг взбесившегося круга и затравленно озиралась, не зная, куда деваться. Увидела старуху, которая ползла к ее ногам впереди других, попятилась и чуть не наступила на старуху, подползавшую сзади. Они ползли отовсюду — справа и слева, тянули к ней руки, и крики их: «Слава Владычице!» — перешли уже в сплошной вой.

Неожиданно в круг вскочил Гринька. Заметался, переступая через ползущих и орущих людей.

— Эй, люди, вы что, озверели? — закричал он недоменно. — Что ж это делается?

На кого-то он наступил, кого-то шлепнул по заду. Увидев своего отца, схватил его за шиворот и потряс:

— Эй, тятка, ты что?

Отец отпихнул его и, заорав не своим голосом: «Слава Владычице!» — пополз дальше.

Гринька кинулся к Маньке.

— Манька,— закричал он,— да какая ты, к бесу, Владычица? Они же тебя разорвут сейчас. Пошли отсюда!

Он схватил ее за руку и потянул к себе. В это время Афанасьич толкнул в бок ползшего рядом с ним горбуна. Горбун понял приказ и с неожиданной для него ловкостью прыгнул сзади на Гриньку, придавил его и, заглушая Гринькины вопли, заорал:

— Слава Владычице!

10

По деревне идет толпа празднично одетых людей во главе с рослым парнем, обвязанным расшитыми кушаками и полотенцами. Парень несет на вышитом полотенце хлеб — челпан — подарок невесте. Другой парень рядом несет пирог с рыбой и кувшин вина.

Парень с челпаном по дороге выкрикивает:

Ой да добрые люди,
Гости полюбовные,
Званые и незваные,
Усатые и бородатые,
Холостые и женатые,
У ворот приворотнички,
У дверей притворнички,
Благословляйте!

Народ, толпящийся по бокам, отвечает хором:

— Благословляем!

Дружко, увидев молодых женщин, говорит им:

Молоды молодки,
Хороши походки,
Золоты кокошки,
Серебряны сережки,
Благословляйте!

Женщины, кланяясь, отвечают:

— Благословляем!

Процессия подходит к дверям. У дверей стоят Афанасьич с Матреной. Дружко, кланяясь, обращается к ним:

Сватушка коренной,
Свахонька коренная,
Благословляйте своих детей,
В свой терем идти,
Здоровенько спать,
Веселенько встать,
Нам всем счастье творить.

Афанасьич отвечает с поклоном:

— Благословляем.

— Сватушка коренной, свахонька коренная, звали ли гостей?

— Звали, звали,— отвечает Афанасьич.

— Бьем челом. Было ли вызнание, было ли сватовство, было ли обручение?

— Было.

— Сватушка коренной, свахонька коренная, у нас жених молодой, ясный сокол, золоты кудри, со своими друзьями и с подружьем стоим под окном, под небесным облаком, дозвошь спросить: ждет нас невеста?

— Ждет,— отвечает Афанасьич, распахивая дверь.

Празднично убранная изба. За столом сидят отец с матерью, в углу возле печки невеста с подружками. Невеста, в нарядном сарафане, с кокошником на голове, сидит напуганная и растерянная, не в силах постигнуть происходящее.

Дружко, входя, громко провозглашает:

— Становитесь, отец на отцово место, мать — на матерно.

Отец с матерью выходят из-за стола, становятся посреди избы.

Дружко говорит:

— Руки с подносом, ноги с подходом, головы с поклоном, язык с приговором. Идут от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны — немалы. Примете аль не примете?

— Примем,— отвечает перепуганный в смерть отец.

Дружко снимает с блюда вино, протягивает отцу, а матери — пирог с рыбой. Родители принимают гостинцы.

Дружко поворачивается в угол к невесте:

— Идут к невесте-молодице от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны — немалы. Примете аль не примете?

— Примем,— говорит отец.

— Со светом али без свету?

— Со светом,— отвечает отец.

Дружко вынимает из-за пазухи свечу, зажигает от свечи одной из подружек, подает невесте, и все подружки сразу же гасят свои свечи, остается только одна в руках невесты.

— Свечи воску ярого от нас,— говорит дружко,— а свет летучий от жениха, ясно сокола.

Второй дружко подносит невесте челпан. Она принимает его, надкусывает, а на блюдо дружке подает свой челпан.

Старший дружко говорит, обращаясь к невесте:

— Невеста-молодица, становись-ка ты на резвы ножки, на куньи лапки, пойдем в твой высок терем, там жених тебя ждет ясен сокол, все в окошко глядит, все тоскует, все спрашивает: «Не идет ли там девица красная, что невестой моей называлася, что женой быть моей обеща-лася».

Вдоль дороги, ведущей к терему, с обеих сторон толпился народ. При приближении свадебной процессии люди сыпали на дорогу зерно и падали на колени. Невеста шла, опустив голову, и исподлобья поглядывала на толпу в обе стороны, ища кого-то глазами и не находя. Вдруг перед процессией появился заметно пьяный Гринька. Пятясь назад и приплясывая, он стал орать не своим голосом:

— Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

В толпе произошло замешательство. Кто-то, видимо решив, что так нужно, поддержал Гриньку и тоже крикнул:

— Слава Владычице!

Манька растерянно остановилась, но тут по знаку Афанастьяча из толпы выскочили два здоровых парня, в один миг схватили Гриньку за руки, за ноги и потащили в сторону. А Гринька вырывался из рук и кричал:

— Слава Владычице!

Нянька Матрена, обогнав процессию, вбежала в терем и вышла из него с хлебом-солью на полотенце. Поклонилась новой своей хозяйке:

— Добро пожаловать, матушка пресвятая Владычица, будь в сем доме хозяйкой, а надо мной, старой нянькой твоей, госпожой.

Новая Владычица взяла из рук Матрены хлеб-соль и вошла за ней в терем. Народ с песнями обошел вокруг терема, посыпая его зерном, и, кланяясь напоследок, разошелся.

11

С сундучком в одной руке и с узелком в другой Манька переступила порог нового своего жилья. Испуганно огляделась.

Посреди большой комнаты стоял широкий дубовый стол и две лавки. В углу пол устлан чистыми половичками, спитыми из цветных лоскутков.

Манька поставила сундучок у порога, а узелок положила на стол. Все было непривычным, чужим и странным. Манька постояла в растерянности посреди комнаты, потом, не найдя себе никакого дела, опустилась на край скамейки, руки положила на колени и замерла, боясь пошевелиться. Только глаза ее не могли успокоиться, а все шарили по комнате, ощупывая каждый угол, каждое бревнышко в стене.

Вечерело. Забирались на насесты куры. Загонялась в хлева скотина, люди, готовясь ко сну, запирали двери и окна.

В тереме существовал совершенно другой обычай. Матрена обходила все комнаты и открывала двери и окна настежь. Все должно было быть открыто для Духа, который обязан явиться в эту первую ночь.

Манька сидела все в той же позе, когда дверь в комнату распахнулась. Манька вздрогнула, но вошел не тот, кого она ожидала,— вошла Матрена. Нянька сложила лишние подушки на лавку, постелила постель и, идя к двери, сказала:

— Спокойной ночи, матушка!

Она ушла, оставив за собой дверь открытой. Манька подошла на цыпочках и прикрыла. Нянька вернулась.

— Матушка,— сказала она,— в первую ночь дверь закрывать не положено, для мужа твоего все должно быть открыто.

Она снова ушла. Манька прислушалась и, убедившись, что нянька ушла к себе, подошла к узелку, развязала его. Вынула пирожки, стала раскладывать их на столе.

— Вот,— сказала она, обращаясь к Духу, который должен был ее слышать,— это с мясом, а это с капустой. Маньяка пекла. Она у меня хорошо печет. И я тоже умею. А это,— она достала кувшин и кружку,— брага хмельная. Папанька ее любит. Он за нее родную дочь продаст кому хошь. Если немножко, то можно с устатку. У тебя же, чай, дел ой сколько! На земле столько народу да столько твари всякой, за всем проследи и каждого направь куда надо. И это ж если б только одна наша деревня была, а то ведь старье-то люди говорят — еще есть и даже поболее нашей. Хотя, может, и врут. Как это может быть боле, когда у нас, почитай, сорок дворов!

Села она за стол, подперла голову руками, ждет. Задремала. Проснулась. Нет никого. Она подняла глаза к потолку.

— Ну, чего же ты не идешь? Я же тебе все приготовила: и угощенье и постелю. А если я тебе не по нраву, так ты скажи. А не можешь сказать, какой ни то знак подай: или через трубу погуди, или дверью грюкни. Я пойму. Я смышленая.

Она прислушалась. Никто ей не отвечал.

12

Утром нянька Матрена подоила корову, налила в кружку молока, отрезала кусок хлеба и пошла к Владычице. Отворила дверь и застыла на пороге.

На столе по-прежнему лежали пирожки, стоял кувшин с брагой, а Манька складывала вещи в свой сундучок.

— Ты куда это, матушка, собираешься? — подозрительно спросила Матрена.

— За кудыкины горы,— сердито ответила Манька.

Матрена поставила кружку и хлеб на стол, села на лавку.

— Уж не домой ли?

— Домой,— сказала Манька. Потом посмотрела на Матрену и объяснила:— Не пришел Дух-то. Ты говорила — придет, а он не пришел. Видать, я ему не по нраву пришлась, брезгует. Может, ему Анчутка косая больше пригляделась, так пушай он до ней и идет.

— Тише ты! — испугалась, замахала руками Матрена.— Ты что это такое говоришь? Он услышит, осердится.

— А пуцай сердится,— сказала Манька,— я сама в жены ему не набивалась. Я и не хотела, я с Гринькой хотела жить.

Она села на сундучок и, закрыв лицо руками, заплакала.

Нянька села с ней рядом, погладила ее по голове.

— Э-эх,— вздохнула она укоризненно.— Ты же наша Владычица, призвана управлять всем человеческим родом, а не понимаешь... Да как же святому Духу, Владыке небесному, к тебе не прийти? К кому ему и податься, как не к тебе. Приходил он ночью, обязательно приходил.

— Что-то я его не видела,— сказала Манька.— Всю ночь прождала, только под утро чуть-чуть задремала.

— Ну вот видишь,— обрадовалась Матрена.— Значит, под утро он и приходил. Он ведь просто так никогда не придет, а допрежь усypит, ибо лик его никто видеть не должен.

— Нет, нянька, ты мне голову не дури. Кабы он приходил, так хоть след какой-никакой бы остался. А ведь нет ничего.

— Вот чудо-юдо, скажешь тоже! Какой он может след оставлять? Думаешь, он такой человек, как и все, с руками-ногами, а это Дух. Он потому Духом и зовется, что плоти не имеет и никому не видим.

— А если он такой бесплотный, невидимый и неслышимый, для чего мне с ним жить? И как жить?

— А живи, как живется. Ешь, пей, гуляй, занимайся рукодельем. Да у тебя делов-то оей-ей сколько! Сейчас вон рыбаки в море собрались, тебя ждут, совета просят — идтить им али не стоит.

— А откуда мне знать?

— Кому ж знать, как не тебе. Когда тебя спрашивают, говори, как сама думаешь, и это будет правильно, потому что мысли твои есть внушенные Духом. Ну, а если в чем сомневаешься, обращай внимание на приметы. Вот, к примеру, вчера солнце с красной зарею зашло, а сегодня встало со светлой. Значит, Дух знак подает, что погода к ведру идет, а раз к ведру, значит, можно так понять, что рыбакам в море идтить самое время. Сама смотри, все соображай, и как ты решишь, так и правильно будет. Ну, ладно, ты покушай да иди, люди ждут.

Толпа провожающих стояла на берегу. Лодки, готовые к отплытию, покачивались на мелкой волне. Вдоль лодок ходил Афанасьич, проверял снаряжение.

Лохматый парень возился на дне одной из лодок, копопятил дыру.

— Течет, что ли? — спросил старик.

— Маленько течет, — смущенно улыбнулся парень.

— Загодя надо копопатить, — проворчал на ходу старик. — Да и просмолить не мешало б.

Возле одной лодки были Гринька с отцом. Отец грузил сети, Гринька сидел на носу лодки и крутил веревку, один конец которой был утоплен в воде.

— Ну как, Мокеич, готово? — осведомился, подходя, Афанасьич.

— Да вот сети погрузим, будет готово, — степенно ответил Мокеич.

— С похмелья голова не болит? — вполголоса спросил Афанасьич, кивая в сторону Гриньки.

— Да какая у него голова! — махнул рукой Мокеич. — Ты уж не серчай, Афанасьич, он это по дурости вчера вылез.

— Да об чем говорить, — великодушно простил Афанасьич. — По пьяному делу с кем греха не бывает! Верно я говорю, Григорий? — крикнул он Гриньке.

Гринька, продолжая свое занятие, ничего не ответил, словно не слышал.

— Ты что это делаешь? — приблизился к нему Афанасьич.

— Чертей гоняю, — доверительно сообщил Гринька.

— Зачем? — удивился Афанасьич.

— Да все подбивают сходить к одной бабе. Сходи, говорят, да сходи.

— К какой бабе? — насторожился Афанасьич.

— К Анчутке, — сказал Гринька, продолжая крутить веревку.

— А, — старик вежливо захихикал.

Гринька перестал крутить веревку и уставился на старика:

— А ты думал — к какой бабе? А?

Афанасьич смутился.

— Ты, чем языком молоть,— хмуро сказал он,— помог бы отцу сеть грузить.

— А он у меня здоровый,— сказал Гринька.— Он прошлый год быка подымал. Правда, не поднял.

Отец, погрузив сеть, подошел к Гриньке и, что было сил, врезал ему по затылку.

— Во, видал? — сказал Гринька.— А ты говоришь — сеть!

— Ты у меня поболтай еще. Я из тебя дурь эту вышибу.

— И зря,— сказал Гринька,— вышибешь, а что останется? У меня же в башке, окромя дури, нет ничего.

В это время толпа заволновалась, по ней прошел шест:

— Идет! Идет!

По крутой тропинке к берегу в сопровождении Матрены спускалась Владычица.

Толпа замерла. Мужики сняли шапки. Владычица подошла к толпе и остановилась. Афанасьич выступил вперед и склонил перед Владычицей голову. Она смотрела и не знала, что делать. Вопросительно скосилась на Матрену. Матрена шепотом сказала:

— Ручку.

Владычица сообразила, шевельнула левой рукой, потом испугалась, что она грязная, потерла тыльной стороной ладони о платье и подала Афанасьичу. Тот приник к ней губами, а Владычица другую руку положила ему на темя.

— Идите, мужички, в море спокойно. Будет вам путь,— стараясь держаться важно, сказала Владычица.

— Благодарствуем, матушка! — ответил Афанасьич и отошел.

Толпа задвигалась, мужики, уходящие в море, перестроились в цепочку, все подходили к Владычице, рядом с которой, кроме Матрены, оказался еще и горбун, все целовали ей руку, и каждого она благословляла прикосновением к темени.

В очереди впереди Мокеича двигался Гринька. Он делал вид, что не хочет идти вперед, и Мокеичу каждый раз приходилось его незаметно подталкивать. Подошла Гринькина очередь. Горбун, бдительно следивший за Гринькой, шепнул:

— Будешь орать, прибью.

Гринька только усмехнулся и промолчал. Приблизился к Владычице и посмотрел ей в глаза. Она не выдержала и перевела взгляд на свою руку. Гринька взял ее руку в свою левую, а правую положил сверху и приложился к ней губами. Этого никто не заметил, кроме Владычицы, которая после секундного замешательства резко выдернула руку и протянула приближавшемуся Мокеичу.

Отец Владычицы смущенно топтался возле жены, никак не решаясь подойти к дочери, но, когда очередь прошла, Авдотья подтолкнула его. Он подошел и, как все, приложился к ее руке. Владычица, благословлявшая других молча, тихо сказала:

— Счастливый путь, тятя.

— Благодарствую, до... матушка,— вовремя исправил свою ошибку отец.

Авдотья смотрела на дочь взглядом, исполненным счастья и гордости.

После благословения мужики отходили к лодкам, садились на весла. Когда все уселись, Афанасьич со своей лодки дал знак, и все одновременно отошли от берега.

14

На берегу остались старики, женщины, дети. Они застыли, как изваяния, и молча смотрели в море, пока лодки не скрылись за горизонтом. Матрена тронула Владычицу за рукав, и они вместе направились к терему.

Баба с ребенком, стоявшая с краю, заметив, что Владычица удаляется, кинулась вслед за ней.

— Матушка,— быстро заговорила она, поравнявшись с Владычицей и пытаясь всучить ей кусок сала, завернутый в тряпку,— дите у меня хворает, животом мается, день и ночь криком кричит, пособи чем-нибудь.

Владычица остановилась, растерянно посмотрела на бабу, перевела взгляд на Матрену. Матрена вышла вперед, встала перед Владычицей и пошла на бабу, оттесняя ее от Владычицы.

— Ладно, ужо придешь, опосля.

Тут налетели и другие бабы. Одни забегали вперед, другие лезли с боков.

— Матушка, коза в яму упала, ногу сломала! — кричала одна.

— Матушка, мне вчерась покойник наснился, — перебивала другая.

— Матушка... — вылезла третья.

— Да что вы, окаянные, сразу налезли, — замахала на них руками Матрена. — Кыш отсюда, дайте матушке хоть в себя-то прийтись. Кыш! Кыш!

Наткнувшись на мать Владычицы, она смутилась, но достаточно строго спросила:

— Тебе чего, Авдотья?

Авдотья растерялась. Ей еще не приходилось говорить с дочерью через посредников.

— Там полушалок теплый остался, — оробев, сказала она. — Может, занести?

— Занесите, маманя, — сказала Владычица почти тельно.

— Слушаю, матушка, — благоговейно склонилась Авдотья.

Смущенная таким обращением матери, Владычица повернулась и быстро пошла к терему. За ней, едва поспевая, семенила Матрена.

— Красавица наша, — умильно глядя Владычице вслед, проговорила стоявшая рядом с Авдотьей баба.

— Вся в мать, вся в мать, — громко подхватила другая, заглядывая Авдотье в глаза.

Но Авдотья строго посмотрела на ту и другую и, не приняв лести, пошла к деревне.

Она подходила к своей избе, когда ее догнала баба с ребенком.

— Лукинишна, — сказала она, сунув ей кусок сала, завернутый в тряпку, — замолви словечко перед Владычицей, дите мается, криком кричит...

— Ладно, ладно, скажу, — неохотно ответила Авдотья, но сало взяла.

Войдя в избу, она положила сало на стол и открыла сундук. Долго перебирала вещи, пока не нашла обещанный дочери полушалок. Растянула его на руках, села на лавку и, приложив полушалок к лицу, расплакалась.

Прошло столько-то времени. Может, месяц, а может, и больше.

Анчутка медленно плыла на лодке, нагруженной караваями хлеба и бочонком с пресной водой. На море стоял полный штиль, настроение у Анчутки было хорошее, и она дурным голосом, усугублявшим полное отсутствие слуха, пела:

А и теща, ты теща моя,
А ты чертова перешница!
Ты погости у мене!
А и ей выехать не на чем.
Пешком она к зятю пришла,
А в полог отдыхать легла...

Лодка неожиданно на что-то наткнулась. Раздался треск. Анчутка, оборвав песню на полуслове, обернулась, увидела, что ее лодка столкнулась с лодкой Гриньки, который проверял расставленные сети. Невдалеке виден был остров, на котором ждали ее рыбаки.

— Чего орешь? — грубо сказал Гринька. — Рыбу всю распугаешь.

— Гринька! — обрадовалась Анчутка. И засмуцалась. — А я вот хлеб вам везу.

— А еще чего? — спросил Гринька.

— А еще воду колодезную. Холодную, аж зубы ломит.

— Дай испить.

Она налила ковш воды, подала Гриньке. Гринька припал к ковшу.

— А загорел! — с восхищением сказала Анчутка. — Весь нос облупился.

Она протянула руку, чтобы содрать с его носа кожу. Гринька, не отрываясь от ковша, ткнул ее пальцем в живот. Анчутка кокетливо захохотала.

Рыбаки, которые ждали Анчутку на острове, высыпали на берег. Мокочич нетерпеливо крикнул:

— Гринька, охламон, не задерживай девуку!

Афанасьич, стоявший рядом, его охладил:

— Да что ты на его кричишь? Пуцай побалуются, их дело молодое.

Гринька отпихнул Анчуткину лодку веслом, она погребла к берегу. Немного не доплыв, спрыгнула в воду босая и с силой вытащила лодку на песок.

— Здорово, мужички! — весело сказала она.

— Здорово, — ответил Афанасьич. — Чего там в деревне нового?

— А чего там нового? Бабы скучают, силу набирают, — бойко сказала Анчутка и повернулась к тщедушному рыжему мужичонке: — У тебя, Степан, баба сына принесла вот такого роста, а ревет басовито, что бык племенной.

Степан обрадовался, но виду не подал, мужское достоинство не позволило. Он только наклонил голову и скромно ответил:

— В меня, знать, пошел.

Рыбаки засмеялись. Афанасьич отвел Анчутку в сторону и тихо спросил:

— А Владычица чего говорила?

— Наказывала через три дни вам домой повертаться.

Афанасьич поднял голову, посмотрел на спокойное, чистое небо и ответил:

— Ну-ну.

Чем-то не нравилось ему это небо.

16

Утром того дня, когда должны были вернуться рыбаки, проснулась она на рассвете. Выглянула в окно. Огненный шар солнца медленно поднимался над горизонтом. Начинался ветер. Он скрипел входной дверью, раскачивая кроны деревьев, и низко гнал дым над избами.

Владычица встала и в одной рубашке прошла в комнату Матрены. Комната была пуста, постель убрана. Матрена в хлеву доила корову.

— Ты что это рано так поднялась? — удивилась Матрена, увидев свою хозяйку в дверях.

— Да так, что-то не спится, — сказала Владычица, не решаясь доверить Матрене свои сомнения. Но не удержалась: — Ветер на дворе.

— Авось пройдет, — успокоила Матрена.

— Пройти-то пройдет, но все же...— Владычица повернулась и пошла назад в свою комнату.

Матрена прислушалась к свисту ветра, нахмурилась. Ей погода тоже не нравилась. Корова, которой надоело доиться, ударила ногой по подойнику, но старуха вовремя его подхватила.

— Ну-ну, не балуй,— строго сказала она корове и ткнула ее кулаком в бок.

Потом внесла подойник к себе в комнату, налила кружку молока и понесла Владычице, но уже не застала ее.

Она стояла на берегу, ветер рвал с нее платок, задирали юбку. Владычица напряженно смотрела вдаль, но там ничего не было видно, кроме белых барапков, вскипавших на гребнях волн.

— Ветер, матушка,— сказал кто-то сзади.

Она вздрогнула и обернулась. Позади нее и по бокам стояли бабы, все бабы, сколько их было в деревне. Многие с грудными детьми и с детьми постарше, державшимися за материнские юбки. Десятки пар глаз смотрели на нее с отчаянием и надеждой.

— Разве ж это ветер? — беспечно сказала она.— Ветерок. Идите, бабы, по домам, нечего тут собираться, все будет, как надо.

Но никто не сдвинулся с места. Тогда она повернулась и пошла в терем мимо поджидавшей ее на крыльце Матрены, молча поднялась к себе. Села на край лавки, как тогда, когда первый раз вошла в эту комнату, сложила на груди руки. Потом подняла глаза к потолку и сказала, обращаясь к Духу совсем по-домашнему:

— Батюшка, свет родимый, не выдай. Ну на что это ты так рассердился? Ведь люди плывут по морю. А лодчонки у них, сам знаешь, какие, долго ли перевернуть. А ведь скажут-то все на меня. Обещала, мол, что будет путь, а где он? Уж ты, батюшка, если и осерчал, как ни то поиному меня накажи, а море, сам посуди, стоит ли зазря баламутить.

У-уу,— прогудел в ответ ветер в трубе.

— Вот тебе и «у-у»,— передразнила Владычица.— Спробуй только, опрокинь хоть одну лодку, я тебе тогда поукаю.

Она опять вышла из терема, но теперь, чтобы не попадаться на глаза Матрене, в другую дверь — через хлев.

И по другой тропинке, вдалеке от собравшихся на берегу баб, спустилась к самой воде. Притаилась за выступом обрывистого берега и ждала. Волны шумели, налетали на берег и некоторые касались ее босых ног.

17

Где-то на гребне далекой волны мелькнула первая точка. За ней вторая. Лодки приближались к берегу, и люди, сидевшие в них, отчаянно боролись с волнами.

Первая лодка ткнулась наконец в песок.

Женщины и дети с радостными криками скатились вниз. Подходили другие лодки. Одной из них правил Гринька. В ней рядом с Мокеичем сидела Анчутка.

Привязав наспех лодки, рыбаки направились к терему Владычицы. Возглавлял шествие Афанасьич. На растопыренных руках он тащил огромную рыбину.

Владычица не сразу сообразила, что рыбина предназначена ей. А когда сообразила, повернулась и низом кинулась к терему. Едва успела добежать, натянуть на ноги сапоги. Смахнула со лба пот рукавом, поправила волосы и, переводя дух, вышла на крыльцо как ни в чем не бывало, строгая и величественная.

— Здравствуйте, мужички,— весело поздоровалась она с подходившими рыбаками.— Каково вам плавалось, каково ловилось?

— Благодарствуем, матушка,— приблизился Афанасьич, изнемогая под тяжестью рыбы.— Хорошо нам плавалось, хорошо ловилось. Прими от нас гостинчик с благодарностью за удачу.

— Возьми, нянюшка,— сказала она вышедшей из толпы Матрене.— А вы, мужички, идите и отдыхайте.

18

Владычица быстро шла по деревне. Рядом с ней бежал горбун Тимоха.

— Матушка,— спрашивал,— а как думаешь, она горбатенького не может принести?

— Сплюнь трижды через левое плечо и таких глупостей больше не болтай,— строго сказала Владычица.

— Ой, и правда, что ж это я такое болтаю! — Горбун трижды сплюнул, как велела Владычица, забежал вперед, проявляя необычную для него суетливость. Распахнул перед Владычицей дверь в избу.

В избе за рваной занавеской стонала роженица. Тут же суетилась и Матрена. Она зачерпнула из квашни ложкой тесто и наговаривала на него:

— Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли. Поезжайте, поезжайте.— Сунула роженице в рот ложку с тестом.— Поехали. Поехали. Едут,— посмотрела, нахмурилась.— Нет, не едут. А вот и матушка Владычица пришла. Сейчас тебе будет святое благословение, и тогда уже родишь.

Со смешанным чувством боязни и любопытства Владычица заглянула за занавеску и спросила участливо:

— Больно, милая?

— Уж так больно, матушка, моченьки моей нет больше,— со стоном пожаловалась роженица.

— Ну ладно уж, рожай,— разрешила Владычица и, подержав ладонь у ее вспотевшего лба, поспешно направилась к выходу, провожаемая бормотаньем Матрены:

— Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли...

Возле Гринькиного дома сидели на завалинке Мокеич с Афанасьичем и о чем-то разговаривали. Когда Владычица проходила мимо, оба встали, сняли шапки и поклонились. Владычица им в ответ кивнула и улыбнулась.

В это время со двора, ведя на ремешке петуха, выбежал Гринька, догнал Владычицу, снял шапку и поклонился учтиво.

— Матушка Владычица, у меня к тебе просьбица небольшая будет,— сказал Гринька, на ходу пристраиваясь к Владычице.

— Чего еще удумал? — сердито спросила Владычица, косясь на петуха, который рвался, натягивая ремешок и хлопая крыльями.

— Сотвори, будь добра, чудо: научи петуха пособачьему лаять, а то и бегать на ремешке его научил, а вот лаять никак не хочет.

— Сгинь,— сказала Владычица и ускорила шаг.

Гринька снова догнал ее:

— Матушка Владычица, сон мне наснился. Чудной такой сон, а к чему он, не знаю.

— Ну, говори свой сон, да быстро,— тихо приказала она.

— Быстро, быстро,— согласился Гринька.— Значит, так. Наснилось мне, будто мы с тобой лежим вместе на сене, и будто я к тебе шасть под юбку. А тут спускается с неба святой Дух и говорит: «Ты чего это к моей женке под юбку лазишь?» А я ему говорю: так я ж это мол, просто так, по-соседски.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза и неожиданно для самой себя сказала:

— Гринюшка, роденький, и так тошно, что ж ты меня терзаешь?

— Значит, ты меня еще не забыла,— сказал он, торжествуя.— И не забудешь, как я тебя забыть не могу.

Она отшатнулась от него в испуге, повернулась и быстро пошла прочь, почти побежала.

Гринька вернулся к избе. Отец с Афанасьичем по-прежнему сидели на завалинке и пытливо смотрели на него.

— Об чем это ты, милоч, с матушкой калякал? — ласково спросил Афанасьич.

— Да так просто,— беспечно ответил Гринька.— Пытал у ней, как лучше рыбу чистить — с головы али с хвоста.

— Ой, милоч, ты у мене и докалякаешься,— все так же ласково, но с явной угрозой сказал Афанасьич.

В это время петух взмахнул крыльями и налетел на Афанасьича. Старик пригнулся, закрывая руками голову.

— Не бойсь — не укусит,— сказал Гринька, оттаскивая петуха.— Он тухлятиной брезгует.

Во дворе Гринька развязал ремешок, и петух, почувствовав свободу, радостно закричал и погнался за курицей, разгребавшей павоз. Гринька поднялся в избу.

— Ты, Афанасьич, на его не обижайся,— виновато сказал Мокеич,— он же у мене глупой. Без матери рос.

— Глупой, глупой,— рассердился Афанасьич,— а знает, за кем ухлестывать. Это ж надо нахальство такое иметь, на кого глаза-то таращит. Смотри, Мокеич, побереги сына. Ведь если что — зашибем.

— А что же мне с им делать? — робко спросил Мокеич.

— Жанить,— сказал Афанасьич решительно.— Жанить, да и все. Хоча бы на той же Анчутке, и как можно скорей.

— Да он на ней жаниться-то не захочет,— попытался возразить Мокеич.

Афанасьич посмотрел на него и твердо сказал:

— Захочет.

19

Во дворе Владычицы собралась вся деревня. Сама хозяйка сидела на высоком крыльце в нарядном полушубке, в расписных сапожках, принимала народ.

Первой вышла баба с перевязанной щекой. Положила перед Владычицей лепешку черную да кусок семги. Держась за щеку, застонала.

— Что у тебя? — спрашивает Владычица.

— Ой! — стонет баба.

— зуб, что ли? Который?

— О-о! — Баба засунула палец в рот.

— Змею живую добудь и вынь из нее желчь из живой и чтоб она живая с того места сползла, а желчью мажь зуб, где болит, а если змея с того места без желчи не сползет, в той желчи пособия нет.

— У-уу,— благодарно простонала баба, пятясь задом в толпу.

Вышел из толпы мужичок, упал перед Владычицей на колени, приложился губами к ее ноге.

— Что у тебя, Степаи? — спросила она ласково.

— Корова пропала, матушка. Третьего дни выгнал ее пасть к лесу, ввечеру пришел, а уж ее нет.

— Выйди поутру до света, стань на росу босой, плюнь трижды против солнца, говоря: «Пропади тень от света, роса от тепла, найдись моя корова, приди к хозяину, дай молочка, напои меня, мою жену, моих детушек». Если волки не задрали, найдется. Понял, нет?

— Понял, матушка, благодарствую, понял.

— А ну-ка повтори, что делать должен.

— Ну, значит, это, выйти ночью, стать на росу босому, трижды плюнуть и сказать...

— Куда плюнуть-то?

— А я, матушка, и забыл.

— Вот, забыл! А это есть самое главное. Трижды плюнь против солнца. А что говорить надо?

— Ну, значит, «пропади тень от тепла»...

— Тьфу ты, несмышленный какой! Ну как же может тень от тепла-то пропасть? Ты видал такое?

— Не,— сказал мужик,— не видал.

— И значит, как надо говорить?

— А кто знает! — мужик растерянно почесал в затылке.

— Ладно, опосля придешь, назубок учить будешь.

Мужик, смущенный, отошел, кланяясь.

Тут вышли из толпы отец Гриньки и отец Анчутки, вывели за руки своих детей. Гринька и Анчутка упали перед Владычицей на колени. Отец Гриньки бросил на крыльцо мешок. В мешке был поросенок. Он завизжал, забарахтался и покатился по крыльцу. В толпе все засмеялись. Матрена, выбежав на крыльцо, схватила поросенка и утащила в терем.

Отец Гриньки поклонился Владычице и сказал:

— Матушка наша, пресвятая Владычица, надумали мы оженить наших детушек, просим твоего святого благословения. Пусть промежду ними будут мир да совет.

Владычица сжала губы, и взгляд ее встретился с непроницаемым Гринькиным взглядом. Однако она сдержала себя и с подобающей случаю величием свела руки крестом, левую ладонь приложила ко лбу Гриньки, стоявшего справа, правую — ко лбу Анчутки.

Молодые отошли, кланяясь.

Вышла баба с ребенком.

— Что у тебя? — строго спросила Владычица.

— Да я вот все с дитем, матушка. Уж ты не серчай, а только животик у него все не проходит.

— Медвежьей печень высуши, истолки в ступе, смешай с молоком, мажь живот на ночь — пройдет.

Она поднялась, давая понять, что прием окончен. Старухе, которая сунулась к ней с какой-то жалобой, сказала:

— Ладно, хватит, в другой раз.

Придя к себе в комнату, она упала на кровать и зарыдала. Потом встала на колени и, воздев руки к потолку, закричала:

— Дух святой, прости меня, накажи меня, побей меня громом небесным, укажи мне, как жить, что делать? Слаба я, грешна, не то что править другими, с собой совладать не могу. Что ж ты молчишь? Что не отзываешься? Уж я, кажись, не докучала тебе своими просьбами. Помоги же мне, ежели ты есть!

Уткнувшись лицом в подушку, она снова забилась в рыданиях.

20

Вечером в Гринькиной избе лохматый парень играл на жалейке. Другой парень и толстая девка плясали, от усталости не проявляя к этому занятию никакого интереса. Большинство гостей уже спали, кто за столом, кто на лавке. Огромного роста мужик храпел на полу посреди избы. Баба возле печки кормила ребенка грудью.

Мокеич наседавал на сидевшего рядом с ним Афанасьича:

— Нет, Афанасьич,— кричал он,— вот ты человек умный, так ты мне разъясни, кто главнее — зверь или рыба?

— Да ну тебя! — отмахивался от него напившийся вдрызг Афанасьич.

Парень, которому надоело плясать, сел за стол и неожиданно закричал:

— Горько!

Гости, те, кто проснулся, испуганно схватились за кружки с брагой и повернули головы в тот конец стола, где должны были сидеть молодые. Но там была только Анчутка.

— А где этот... ну, как его... Гринька? — заплетающимся языком спросил Афанасьич.

— На двор пошел,— ответила, поднимаясь, невеста.

— Горько! — заорал опять парень.

— Не ори,— попросил его Афанасьич.

21

Владычица лежала у себя в комнате, ворочалась. Ей не спалось. В тереме было тихо, только где-то за печкой изредка трещал сверчок. Вдруг закричали половицы. Владычица прислушалась. Кто-то ходил по терему.

— Матрена! — закричала она.

Вбежала встревоженная Матрена:

— Что, матушка?

— Слышишь? — сказала Владычица.

Матрена прислушалась.

— Что? — шепотом спросила она.

— Кто-то ходит по терему.

Матрена опять прислушалась. Ничего не было слышно.

— Что ты, матушка, Дух с тобой! — сказала нянька.— Кто же здесь может ходить?

— Нянюшка, я точно слышала, кто-то ходил.

— Так это ж я ходила. Дрова в печку подкладала. Спи, матушка, закрой глазки и спи спокойно, никто к нам прийти не может.

Матрена поправила на ней одеяло и вышла.

Владычица закрыла глаза. Но вот опять послышался скрип половиц, теперь шаги слышались явственно. Кто-то тяжелой походкой приближался к ее покоям. Она села на кровати с колотящимся сердцем и уставилась на дверь. Дверь отворилась. На пороге показалась длинная фигура в белом. Владычица вжалась в стенку.

— Ты кто? — свистящим шепотом спросила она.

— Я твой муж — Дух святой,— каким-то странным, нездешним голосом ответил пришелец, медленно продвигаясь вперед. Владычица ущипнула себя. Но это был не сон. Человек в белом приближался к ее кровати. Обходя стол, он зацепился за лавку и с грохотом опрокинул ее.

Белое покрывало слетело. Он схватился за колено и, подпрыгивая, застонал Гринькиным голосом:

— Ай-яяй, коленку зашиб.

— А-а-а-а! — завопила Владычица.

Матрена, выбежавшая на крик, застыла в дверях. Возле неподвижно лежавшей Владычицы суетился Гринька.

— Манька, ты что? — тормошил он ее.— Я ж пошутил. Слышь, что ли, я пошутил просто, и все.— Он обернулся, увидел Матрену и сказал ей:— Матрена, воды.

— Сейчас,— торопливо сказала Матрена.— Сейчас, милоч, принесу.

Она по коридору прокралась в сени, из сеней на крыльцо и, спотыкаясь, побежала к деревне.

Гринька, увидев ее в окно, проворчал:

— Вот дура, вместо того чтоб воды подать, она доносить побегла. Где ж тут вода? — он заметался по комнате.

Матрена во весь опор неслась по деревне. За ней увязалась собака. Она тявкала, хватала Матрену за ноги, но та продолжала бежать, не обращая на собаку никакого внимания. С ходу ворвалась она в Гринькину избу.

22

Гости уже окончательно перепились и валялись кто где. Во главе стола, размазывая по лицу слезы, сидела невеста. Мокеич и Афанасьич сидели в обнимку на другом краю стола.

Увидев Матрену, Мокеич схватил со стола свою кружку и пошел госте навстречу.

— Афанасьич, друг,— закричал он,— гляди-ко, кто к нам пришел. Матрена, иди сюда, выпей с нами, я тебя люблю.

— Отойди,— отодвинула его Матрена.

— Нет уж, не отойду,— упирался Мокеич.— Уж ты уважь!

Но она дорвалась все же до Афанасьича, нагнула его к себе и приткнулась к его уху губами.

Услышанное настолько потрясло Афанасьича, что он сразу протрезвел. Он прошел по избе и стал будить мужиков, кого тормоша за шиворот, а кого поднимая ногами.

— Эй, мужики, вставайте, беда!

23

Сквозь разрыв в тучах в окно заглянула луна. Она осветила лицо Владычицы и Гриньку, сидевшего рядом на постели. Гринька наливал в ладони из кувшина воду и плескал ее на Владычицу. Она открыла глаза.

— Ну вот, наконец-то,— проворчал Гринька.— Что за народ пошел, нельзя уж и пошутковать с ними.

— Гринька, это ты? — спросила она.

— Ну, а кто ж? — сказал Гринька.— Правда, что ли, Дух святой?

— Зачем ты это сделал? — спросила она.

— По дурости, — сказал Гринька.

— Беги отсюда, — сказала она, приходя в себя. — Беги, пока есть время, тебя же убьют.

— Какое там время, — сказал Гринька. — Погляди. Она поднялась и посмотрела в окно. За окном при свете факелов угрожающе гудела толпа.

Терем был окружен.

— Что же делать? — заметалась Владычица.

— Ничего, — сказал он. — Сейчас я с ними поговорю.

Он поднял с пола белое покрывало и завернулся в него.

— Ну как, хорош я? — спросил он, расправляя плечи.

Владычица испуганно смотрела ему в глаза. Он неожиданно схватил ее, хотел поцеловать, но она его оттолкнула. Гринька повернулся и направился к выходу. Толпа волновалась перед крыльцом, но никто не решался идти дальше. Факелы, колеблясь, дымили.

На крыльце показалась фигура в белом. Она застыла на мгновение и, медленно спустившись по ступеням крыльца, направилась прямо к толпе. Страх охватил людей. Кто-то упал первым, за ним другой, третий, и вот уже все люди лежали ничком, и факелы их шипели, уткнувшись в сырую траву.

Гринька шел, переступая через распластанные тела. Зацепил краем простыни горящий факел. Простыня вспыхнула. Гринька сбросил ее с себя и кинулся бежать.

— Гринька! — придя в себя, закричал Афанасьич. — Держи его!

— Дураки! — закричал Гринька, перескакивая через лежащие перед ним тела. — Пужливые дураки! Вот я вас уже не так напужаю!

Горбун, мимо которого пробежал Гринька, изловчился и схватил его за ногу. Гринька упал, на него налетели другие, навалились, его били, топтали ногами.

Тут из терема выскочила Владычица. С ходу она влетела в толпу и стала расталкивать их локтями, крича:

— Отойдите! Отойдите!

Толпа постепенно приходила в себя. Люди, опомнившись, расступались перед Владычицей.

Гринька сидел на земле, держась обеими руками за правый бок, и стонал.

— Ну что ж ты, матушка, им мешаешь? — сказал он через силу. — У них же другой радости нет, как навалился всем миром на одного.

Подошел Афанасьич.

— Матушка, дозвожь, мы его порешим, — буднично попросил он.

— Не дозволяю.

Толпа была недовольна.

— Тогда пущай уходит от нас, — твердо сказал Афанасьич.

Владычица заколебалась, но, поняв, что другого выхода нет, тихо сказала:

— Пущай уходит.

— Твоя воля для нас закон, — почтительно ответил от имени всех Афанасьич, склоняясь перед ней в глубоком поклоне.

И все вслед за ним наклонили головы в знак согласия.

24

Утром Владычица видела в окно, как Гриньку всей деревней провожают в море. Справа от него шел Афанасьич, слева — отец. Позади всех на некотором расстоянии, всхлипывая, плелась Анчутка.

Гринька, избитый, с синяком под глазом, с распухшим носом, прихрамывая, тащил в одной руке узелок с одеждой, в другой вел петуха на ремешке. Еду и воду тащил отец.

Подошли к приготовленной заранее лодке, остановились, Гринька не торопясь уложил в лодку оба узла и кувшин с водой, посадил и привязал петуха, осмотрел весла, вернулся к толпе.

— Поди-ка сюда, — поманил он Анчутку и, когда она покорно приблизилась, обнял ее. — Ты, Анчутка, на меня не сердчай, я ведь тебе зла не хотел, а уж как все получилось, и сам понять не могу. Хочешь так, а получается эдак. Да, может, этак-то все и лучше. Коли тут, — он ткнул себя пальцем в левую сторону груди, — с самого

начала нет ничего, так опосля ведь и жисть-то не жисть, а одна маета. А для виду, Анчутка, жить я не могу.

Афанасьич из-под насупленных бровей смотрел на Гриньку.

Анчутка, уткнувшись головой в Гринькину грудь, задергалась от рыданий.

— Ну будя, будя,— сказал он, отстраняя ее.— Радоваться должна, что так легко сбавилась от меня.

Он подошел к отцу.

— Ну, а тебе, тятка, не знаю, что и сказать. Не поминай лихом, что ли.

Отец смотрел на него снизу вверх, пытался сохранить достоинство, но это плохо у него получалось, и он дергал носом, готовый вот-вот разреветься.

Гринька резко прижал его к себе и так же резко отпустил. Пошел было к лодке, но возле Афанасьича, не удержавшись, остановился.

— Ты, Афанасьич, для такого случая хоть бы бороду расчесал, все же народ от супостата избавил. А это разве борода? — он схватил его за бороду и подергал.

Афанасьич разжал его руку, а горбун Тимоха вышел из толпы и угрожающе двинулся к Гриньке.

— Ну-ну-ну, ты полегче,— сказал Гринька, отступая и грозя горбуну пальцем.

Оттолкнул лодку и прыгнул в нее.

— Эй, Тимоха, слышь, что ли! — берясь за весла, крикнул он горбуну, который стоял возле самой воды и сосредоточенно ковырял пальцем в носу.

— Чего тебе? — недовольно, подозревая подвох, спросил Тимоха.

— Не ковыряй в носе, мать помрет.

Горбун испуганно дернул рукой.

— Ковыряй, ковыряй, я пошутил,— разрешил Гринька, налегая на весла.

Петух вскочил на корму лодки и, захлопав крыльями, отчаянно закукарекал.

Владычица смотрела в окно, как удаляется Гринькина лодка. Сзади подошла нянька и, погладив хозяйку по голове, облегченно сказала:

— Ничего, матушка. Дух с ним совсем. Авось не пропадет.

А потом пришла в деревню беда. Заболела скотина. В одном дворе корова лежала на боку и смотрела грустными глазами на свою хозяйку, которая причитала, обливаясь слезами:

— Что же ты, кормилица моя, глядишь на меня своими глазоньками! Да и кто же тебе сделал порчу такую?

В другом дворе старик сидел и молча смотрел на дергающуюся в конвульсиях корову.

Еще одна корова лежала дохлая посреди деревни. Жалобное мычание не умолкая висело в воздухе.

Возле дома Владычицы собралась ропщущая толпа. Владычица металась по своей комнате, боязливо поглядывая в окно и не решаясь выйти к народу.

Дверь в ее комнату отворилась. Подталкивая перед собой девчонку лет пятнадцати, вошел Афанасьич.

— Вот, матушка,— сказал он,— Ксюшка болтает, будто видела, как Анчутка на восходе солнца собирала возле дома росу.

— Сама видела, матушка,— охотно подтвердила Ксюшка.— Вышла я это утром на двор, гляжу, Анчутка над травой руками эдак разводит и какие-то слова говорит, а какие — не разберешь: видать, бесовские. А еще, матушка, на плече у ней на левом, вот на этом месте,— пятно. С ладонь, пожалуй, а то и поболе.

Перед теремом Матрена и горбун Тимоха воевали с бушевавшей толпой.

— Отойдите, окаянные! Отойдите, кому говорят! — надрывалась Матрена.

— Куда лезешь! — в тон ей кричал горбун, тыча кому-то кулаком в нос.

— А пуцай выйдет Владычица! — петухом налетал

на Матрену Степан.— А пущай она нам объяснит, за что святой Дух посылает на нас такую кару.

Дверь терема резко распахнулась, на крыльце появились Владычица, Афанасьич и Ксюшка.

Толпа мгновенно умолкла. Ксюшка старалась держаться за спиной Владычицы. Владычица схватила ее за руку и вытащила вперед.

— Ну, говори,— приказала она.

Ксюшка нерешительно мялась.

— Говори,— повторила Владычица,— не бойся. А то бегать наушничать все горазды, а выйти и сказать правду народу — страх берет.

Ксюшка сбежала с крыльца и стала пробираться к Анчутке. Народ расступился. Оставшись один на один с Ксюшкой, Анчутка смертельно побледнела.

Ксюшка прыгнула на нее кошкой, схватила за ворот, рванула. Платье затрещало, обнажив Анчуткину спину. И все увидели большое родимое пятно у нее на плече.

— Вот он, колдовской знак! — торжествующе объявила Ксюшка.

Толпа кольцом сомкнулась вокруг Анчутки и угрожающе надвигалась. Анчутка в страхе озиралась, заглядывала в лица людей, ища в них сочувствия, но все они были одинаково беспощадны.

— Топить ее! — истошно завопил кто-то.

— Топить! — всколыхнулась толпа.

— Стойте! — вскинула руку Владычица, и толпа перед ней расступилась.

Она шагнула к Анчутке, отогнула разорванный ворот платья, который Анчутка придерживала рукой, глянула на пятно и снова закрыла.

— Пущай она от нас уйдет,— объявила Владычица народу свой приговор.

— Пущай уйдет,— повторил Афанасьич.

— Пущай уйдет! — подхватила толпа.

— Благодарствую, матушка,— осмелев, поклонилась Анчутка Владычице.— Благодарствую за милость твою, за то, что ты Гриньку сперва загубила, а теперь вот и мой черед наступил.— Она выпрямилась и гневно крикнула:— Не можешь простить нашу с Гринькой любовь! Силу свою показываешь!

Владычица хмуро посмотрела на нее и сказала:

— Иди за мной! — и повернулась к терему.

— Не пойду! Не пойду! — Анчутка в ужасе кинулась прочь, но тут же забилась в руках мужиков. Они протаскивали ее к терему, втолкнули в комнату. Вошла Владычица и прикрыла за собой дверь.

28

Анчутка стояла посреди комнаты и смотрела на Владычицу со страхом и ненавистью.

— Сядь! — приказала Владычица.

Анчутка села.

Владычица подошла, погладила ее по голове и тихо сказала:

— Бедная ты моя.

Анчутка, не ожидавшая такого начала, упала лицом на стол и зарыдала.

— Ладно, ладно, — проводя ладонью по ее волосам, успокаивала Владычица.

Зачерпнула ковш воды из деревянной бадьи, стоявшей на лавке, поднесла госте. Та судорожно впилась в ковш, стучала о его края зубами, но никак не могла напиться — вода проливалась, текла по подбородку на грудь.

Ожидая, пока Анчутка успокоится, Владычица ходила по комнате из угла в угол, потом заговорила, медленно подбирая слова:

— Вот ты говоришь насчет Гриньки и сама знаешь, что зря. Правда, люб он мне был и на тебя зло таила, но это все раньше, а теперь здесь, — она ткнула себя пальцем в грудь, — ничего не осталось. Ни любви, ни зла. Место мое такое — не позволяет сердце на одного тратить, остальным не хватит. И кабы ты была на моем месте, а я на твоём, то ты сделала бы то, что делаю я, потому что никто из нас в жизни своей не волен, а идет по тому пути, который он, — она подняла палец вверх, — нам назначил.

Владычица остановилась у окошка.

— Ты погляди, сколько людей — столько и радости и горя. У каждого свое. Но ведь радость при себе держат, а горе несут ко мне. И Палашка, и Степан, и Тимоха. Как будто у меня своего мало. А я все принимай, всех утешай. Это ж откуда столь силы взять, чтоб такое-то выдержать?

И такая тоска и горечь были в глазах у Владычицы, что Анчутка не выдержала — отвела взгляд.

Владычица опустилась на скамью.

— Никому не говорила, а тебе скажу — не знаю, кому из нас нынче тяжелее.

Она закрыла лицо руками.

Анчутка подошла к ней, встала на колени и приложилась губами к ее ногам.

— Прости, матушка, — тихо сказала Анчутка. — Виноватая я перед тобой.

— Иди, — не отрывая рук от лица, сказала Владычица.

Анчутка направилась к выходу, взялась за ручку двери, и тут Владычица остановила ее:

— Погоди.

Подошла к Анчутке, внимательно на нее посмотрела и тихо сказала:

— А что ж ты с Гринькой-то не ушла?

Анчутка опустила голову и еле слышно сказала:

— Не взял он меня.

Владычица отвернулась и, не глядя на Анчутку, вздохнула:

— Нет, Анчутка, ты не любила его.

Анчутка бросила на Владычицу отчаянный взгляд и вдруг сорвалась с места и бросилась к выходу.

Владычица подошла к кровати и легла, уткнувшись лицом в подушку.

Потом во дворе раздался шум. Люди что-то кричали на разные голоса, а слов было не разобрать. Владычица подняла голову и прислушалась. Вошла Матрена.

— Что там за шум? — поинтересовалась Владычица.

— Да ведь это... Анчутка от тебя выбегла, ровно шальная, да напрямки к морю. Ее хотели пымать, да куды там — с обрыва головой бухнулась, и только круги по воде.

Владычица села на кровати и расширенными от ужаса глазами посмотрела на Матрену.

Владычица бродила по лесу, искала траву. Лето клонилось к осени, и это было заметно по тому увяданию, которое тронуло уже своим дыханием лес. Было сыро и холодно.

Она зашла далеко и не столько собирала траву, сколько просто гуляла, наслаждаясь одиночеством и природой. И вдруг услышала какой-то звук, который показался ей сначала криком зверя, а потом она поняла, что это стонет человек. Стон повторился, и она, продираясь сквозь кусты, осторожно пошла на него. Когда перед ней открылась небольшая поляна, она встала за дерево и затаилась.

На краю поляны под деревом стоял шалаш. Перед шалашом валялись перья и пустой ремешок, привязанный к колышку. Из шалаша доносился стон. Владычица осторожно приблизилась и заглянула внутрь шалаша. В шалаше на свалывшейся подстилке из отсыревшего сена лежал, разметавшись, Гринька. В какое-то мгновение она решила, что ей надо уйти, и пошла быстро, не оглядываясь, в сторону деревни. Наткнувшись на дерево, остановилась, прислонилась к нему щекой. И вдруг со всей ясностью поняла, что именно должна сейчас делать. Уже не раздумывая ни секунды, она кинулась со всех ног назад к шалашу. В шалаше она расправила сено под Гринькой, сняла с себя полушубок, укрыла им Гриньку, а его голову положила себе на колени. Напоила его из стоявшего рядом кувшина болотной водой. Он успокоился и затих.

Дело шло к вечеру, холодало, у Владычицы затекли ноги, но она сидела над Гринькой с неподвижным лицом, словно окаменела. Но вот он пришел в себя и открыл глаза. Увидев ее, он несколько не удивился.

— Наконец-то,— вздохнул он облегченно.— Все же ты пришла. А я уже боялся, что ты меня не найдешь. Сейчас я встану, и мы с тобой отсюда пойдем.

Выражение ее лица несколько не изменилось, будто она и не слышала этих слов, не заметила его пробуждения. Только из-под ресниц выступили и покатались по щекам две слезинки.

— Я так долго шел к тебе,— сказал он, помолчав и отдышавшись,— да вот захворал. Вчерась ночью волки напали. Я на дерево влез, а петуха задрали. Думал, один останусь, да вот ты подросла. Теперь мы с тобой убежим отсюда.

Он хотел приподняться и снова потерял сознание.

В сумерках они пробирались к ее терему, далеко отгибая деревню.

Вошли в терем через скотный двор. Она поддерживала Гриньку, помогая ему по шаткой лестнице взобраться на сеновал. Устроила ему в сене постель, накрыла полусубком. Потом прошла мимо Матрениной комнаты на цыпочках к себе, налила из кувшина кружку молока, отрезала ломоть хлеба. Только собралась выйти, когда на пороге появилась Матрена.

— Где это ты так поздно гуляла, матушка? — подозрительно спросила пьянка.

— Траву в лесу собирала, — ответила Владычица, отхлебывая из кружки, — да заплутала маленько.

— А я уж собралась идтить в деревню, народ скликать. Ой, матушка, нешто можно одной далеко так в лес уходить? — покачав головой, Матрена ушла.

Владычица подождала немного, долила в кружку молока и понесла Гриньке. Гринька спал, и дыхание его было спокойным. Владычица поставила рядом с ним кружку, накрытую хлебом, посмотрела на Гриньку и неожиданно для самой себя быстро поцеловала его в лоб. Тут же испугалась своего поступка и посмотрела на крышу. Но все было тихо. Дух ничего не заметил.

Летели на землю из-под топора щепки. Афанасьич тесал доски для новой лодки, каркас которой стоял тут же, во дворе.

На завалинке сидел пьяный Мокеич и мотал головой:

— Мальчишку мово ты зря погубил, Афанасьич. Хороший был мальчишка, веселый. А то, что любил поозоровать, так это ж только по малолетству.

— Малолеток, — усмехнулся Афанасьич. — У меня в таки годы уже двое ребят было, а Гринька твой все в малолетках ходит. Да и озорство озорству рознь.

— Да он же просто любил пошутковать над людьми, и зла в ем не было никакого, — стоял на своем Мокеич. — Уж

на что я ему отец родной, а и надо мной шутовал. Грех ты взял, Афанасьич, на свою душу, большой грех.

Афанасьич опустил топор.

— А что ты меня-то винишь? — сказал он сердито. — Вся деревня супротив твоего Гриньки стояла. Хороши тоже шуточки — в Духа святого вырядился. Да ты передо мной на коленях ползать должен, что я Владычицу уговорил над им сжалиться. Анчутка вон не за такое на дно пошла. Да он небось где ни то пристал и живет себе припеваючи, а ты по нем тут...

Он не договорил, увидев подошедшую к дому Матрену.

— Ты чего? — спросил он Матрену.

— Поди-ка, — поманила она.

Он бросил на землю топор и подошел. Матрена поднялась к нему на цыпочках и зашептала в самое ухо:

— Гринька-злодей объявился. Уж я тоже взяла грех на душу, видела все и молчала покуда, а тут ведь поправился, а сидит...

32

Владычица вошла к себе в комнату и, вздрогнув, остановилась. В комнате за столом сидел Афанасьич. При ее появлении он слегка привстал и, сдержанно поклонившись, сказал:

— Вот пришел, матушка, кой о чем покалякать.

Дурное предчувствие охватило ее, но она не выдала себя и, сев напротив Афанасьича, разрешила:

— Калякай.

— Хочу, матушка, загадочку тебе загадать. Ты у нас смышленная, может, и отгадаешь. Сидела белочка в своем дупле, ховала зайчика. Пришли охотнички, говорят: «Белочка, а белочка, отдай нам свово зайчика». Что белочка ответила? — старик лукаво прищурился.

— А может, никакого зайчика у ней не было? — в тон ему спросила Владычица.

— Был, — уверенно сказал Афанасьич.

— Ну тогда, значит, смотря какой зайчик и какая белочка, — сказала Владычица. — А то ведь может сказать: «Не отдам».

Старик покачал головой, недовольный таким ответом.

— Охотнички-то — ведь они народ лютый. За зайку могут и белочке шкурку попортить.

У Владычицы пересохло во рту. Она зачерпнула из бадьи ковш воды, отхлебнула, не отрывая взгляда от го-
стя.

— Трудную я тебе, матушка, загадочку загадал, — ска-
зал он, — а отгадка у ней простая. Выпустить надо белоч-
ке зайку в лес, и пушай себе бежит да обратно не возвра-
тается.

Она перегнулась через стол к старику и, понизив го-
лос, сказала:

— А ты, охотничек, за свою старую шкурку-то не бо-
ишься? А то, гляди, кабы белочка волчицею не оберну-
лась.

— А ты меня, матушка, не пужай, — сказал старик,
поднимаясь. — Ты хоча и набрала силу большую, а супро-
тив меня слабовата будешь. Старая-то Владычица с мо-
ей помощью под холмик легла. А и та, что до ней была, —
тоже, — старик приблизил к ней свое лицо и хихикнул.
Вдруг лицо его преобразилось и приняло откровенно злоб-
ное выражение: — Давай говорить напрямки. — Старик
заходил по комнате. — Ты с Гринькой живешь, и я знаю
про это. Но мне-то что. Я старый. Я много кой-чего знаю,
да молчу. Но народ узнает — худо будет. Вера в людях
пропадет. А как жить без веры? И потому мой тебе сказ
такой. Нонче, как только стемняет, отведешь Гриньку в
лес. И пушай себе идет, куды хочет, никто его трогать не
будет. И тогда все, что было, забудем. А если все в точно-
сти не исполнишь, помни: в землю ляжешь живая. Про-
щай, матушка, — сменив тон с резкого на почтитель-
ный, заключил Афанасьич и, вежливо поклонившись, вы-
шел.

Переждав немного, Владычица пошла за ним. Дверь в
комнату Матрены была приоткрыта, в щелочке чернел
глаз Матрены. Владычица потянула дверь на себя, едва
не прищемив няньке нос.

Гринька ждал ее на сеновале. Самоделным ножом вы-
резал он из дерева какую-то фигурку.

— Что это? — спросила Владычица.

— Это петух, — сказал Гринька, протягивая ей дере-
вяшку.

Владычица положила фигурку в сторону. Взяла из рук Гриньки нож, тоже отложила. Потом обняла Гриньку.

— Ты что? — испугался он. — Не боишься?

— Теперь все одно, — сказала она...

33

Вечером Матрена услышала плач и вышла из своей комнаты. Приложила ухо к двери Владычицы, послушала. Потом вышла на крыльцо и увидела: по тропинке в сторону леса с узелком в руках шел, спотыкаясь как пьяный, Гринька. Матрена постояла еще на крыльце и вернулась в терем, тихо прикрыв за собою дверь.

34

Петухи, надрывая глотки, старались перекричать друг друга. Над деревней вставало утро. Владычица сидела за столом, положив под голову руки. Очнулась, подняла голову. По ее изможденному лицу было видно, что она всю ночь не ложилась.

На дворе послышался голос Матрены:

— Куда ты прешь? А ну отойди отседова, сказано — не пушу.

Владычица выскочила на крыльцо. На крыльце Матрена боролась с Мокеичем, который пытался пробиться в терем.

— Отойди, — сказала Владычица, пихнув няньку локтем. — Ты что, Мокеич? — ласково спросила она.

Мокеич упал на колени и, воздев к ней руки, закричал в голос:

— Гриньку люди в лесе нашли... убитый...

Владычица сорвалась с места и побежала в сторону леса. За ней, отставая и падая, неся Мокеич.

Гринька лежал под кустом, наспех прикрытый хворостом и палыми листьями. Вокруг него молча толпился народ. Владычица разогнулась, посмотрела в лица людей. И каждый, встречая ее взгляд, опускал голову.

— Сейчас,— сказала Владычица,— всем идтить к моему терему.

Голос ее был спокоен. Она первая направилась в сторону деревни, сперва медленно, потом, вспомнив что-то, бегом.

35

Когда вошла к Афанасьичу, он сидел за столом и спокойно пил молоко. Увидев Владычицу, привстал, поклонился:

— Здравствуй, матушка! Садись, откушай со мной молочка.

Одной рукой она выбила у него молоко, другой, сжатой в кулак, ударила старика в переносицу. Он опрокинулся через лавку, пытался вскочить, но Владычица снова свалила его и долго в иступленной ярости топтала ногами. Потом, шатаясь, вышла за дверь. Старик со стоном поднялся и, размазывая по лицу кровь, поплелся за ней.

36

Когда подошла к толпе, все наклонили головы, и мужики сняли шапки. Она прошла вдоль толпы туда и обратно. Остановилась. Тихо сказала:

— Вчерась я проводила Гриньку в лес. Он подбивал меня уйти с им, говорил, будто знает место, где нас никто не найдет. Я не пошла, потому как думала жить ради вас. А теперь мне больше жить неохота. Ни для вас и ни для себя. Вы убили Гриньку, убейте теперь и меня. Я была с им как с мужем.

Толпа зашумела. Держась за разбитую губу, выступил вперед Афанасьич.

— Не слушайте ее, люди! — закричал он. — Рассудок у нашей матушки помутился. Напраслину возводит она на себя.

Владычица подошла к нему и сказала почти ласково:

— Зачем так говоришь, Афанасьич? Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь, что я с им жила.

— Врешь! — закричал Афанасьич, отпатываясь от нее. — Не знаю!

— И ты не знаешь, Матрена? — обратилась Владычица к няньке. — Не ты ли нас подглядела, а потом Афанасьичу донесла?

— Не было такого, — глядя в глаза Владычице, твердо сказала Матрена.

— Ну ладно, — Владычица вбежала в дом и тут же вернулась с мужским кушаком в руке. — Вот кушак. У Гриньки я на память взяла. Мокеич, может, это не Гринькин?

— Гринькин! — Мокеич выхватил у нее кушак и, падая к нему лицом, заплакал.

— Коли этого мало, так, может, на сеновал пойдем, поглядим, где мы с ним целовались да миловались? — предложила она толпе.

— Бей ее! — заорал горбун, выскакивая вперед и замахаясь на Владычицу дубиной.

Афанасьич успел удержать его руку.

— Погоди, Тимоха, — сказал он. — Ей будет другая кара.

— Об одном только прошу, — Владычица поклонилась народу, — покладите вместе с Гринькой. Не дали нам вместе быть на земле, хоть под землей будем вместе.

Секундное молчание нарушил Афанасьич.

— Не можем мы этого допустить, — мрачно сказал он, опуская голову. — Гринька был человек простой, и лежать ему среди простых людей. А ты какая ни на есть грешная, а Владычица, и похороны тебе будут особые.

37

— Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела...

Старухи в черных одеждах выстроились в две шеренги по обеим сторонам дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Крайняя начинала, остальные подхватывали, ко-

сясь на носилки, которые проносили между ними два мужика. Владычица лежала вся в белом и смотрела живыми глазами в небо. Старухи с песней поворачивали и шли вслед за носилками. В толпе, как и положено при настоящих похоронах, причитали и плакали бабы. Носилки принесли на кладбище и положили возле могилы. Афанасьич первым наклонился и поцеловал Владычицу в лоб. За ним по очереди пошли остальные.

— Доченька, моя родная! — кинулась к носилкам Авдотья, но ее тут же схватили и оттащили, бьющуюся в истерике, в сторону.

Со восточной со сторонушки
Подымалися да ветры буйные...

— Опускайте! — приказал Афанасьич.
А старухи еще громче завывли:

Со громами да со гремучими,
Со молоньями да со палючими...

И вырос на кладбище Владычиц новый холм.

38

На рассвете другого дня горбун Тимоха ходил по деревне и, как ни в чем не бывало, выкрикивал весело:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди. Будем пить и гулять, Владычицу вызнавать.

Но никто не откликнулся на его веселый призыв. Наглухо были заперты двери и окна. Не бродила по деревне скотина, не копошились в кучах мусора куры, собаки забились в будки и не выглядывали. Даже дым не курился над трубами.

На поляне возле леса за большим столом сидели старики, готовые к церемонии вызнавания. Вопросительно и тревожно поглядывали они на сидевшего во главе стола Афанасьича, но тот с каменным выражением смотрел в одну точку перед собой и молчал.

Солнце поднялось уже высоко. Сбившийся с ног Тимоха медленно брел по деревне и, потеряв всякую надежду, уныло выкрикивал:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди...

Потом сел в пыль посреди дороги и, обращаясь к молчащим избам, отчаянно закричал:

— Да что ж это делается, люди? Что же вы не выходите? Неужто теперь нам без веры жить?

Обхватив голову руками, он зарыдал.

И тогда со скрипом робко приотворилась какая-то дверь...

СОДЕРЖАНИЕ

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ	5
ДВА ТОВАРИЩА	89
ВЛАДЫЧИЦА	199

Войнович Владимир Николаевич

Повести

М., «Советский писатель», 1972 г. 256 стр. План вып. 1972 г. № 15. Редактор З. В. Одицова. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор Ф. Г. Шапиро. Корректор Л. Г. Соловьева. Сдано в набор 24/XII 1971 г. Подписано к печати 6/V 1972 г. А 06781. Бумага 84×108¹/₃₂ № 2. Печ. л. 8 (13,44). Уч.-изд. л. 13,07. Тираж 30 000 экз. Заказ № 650. Цена 53 коп. Издательство «Советский писатель». Москва К-9. Б. Гнездииковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

53 коп.